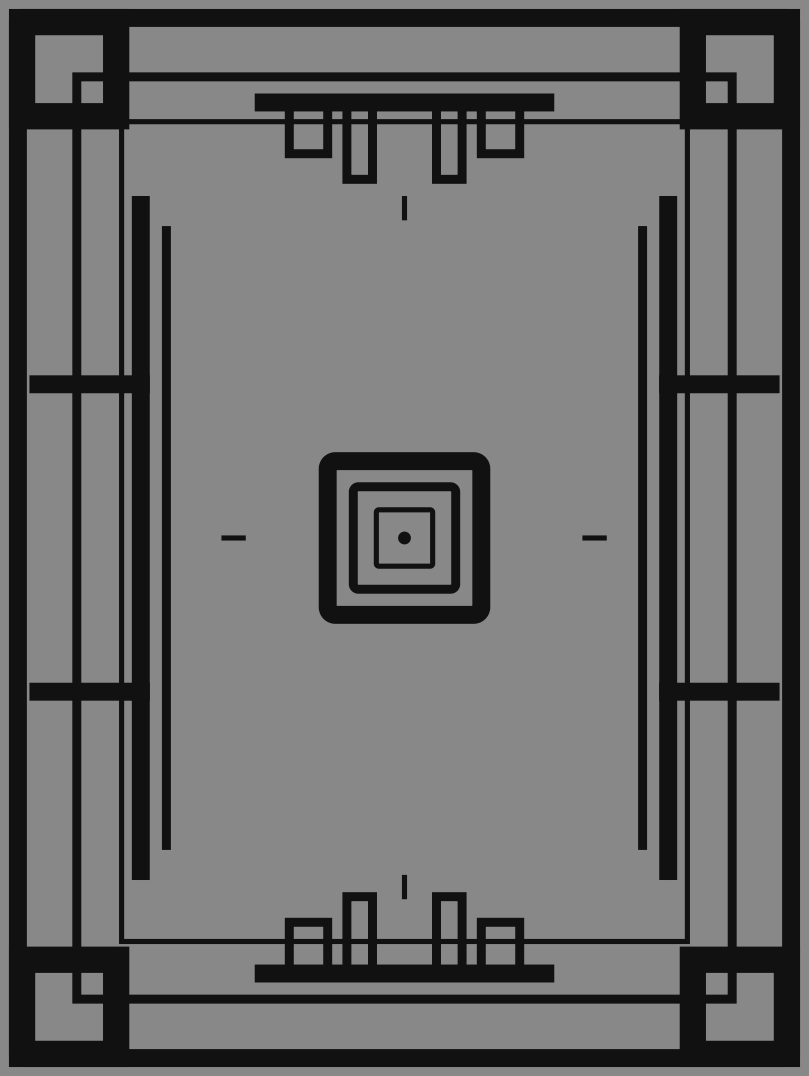


Кондуит и Швамбрания
Лев Абрамович Кассиль

Аннотация
Лев Абрамович Кассиль. Кондуит и Швамбрания
Книга первая. Кондуит
Страна вулканического происхождения
Открытие
Пропавшая королева, или тайна ракушечного грота
Запоздавшее предисловие
География
История
От Покровска до Драндзонска
Джек, Спутник Моряков
У тихой пристани
Домашний капитан
Земля Ханонская
Гудок разбудил Швамбранию
Критика мира и собственной биографии
«Мы — демократы»
Мир животных
«Из хорошего дома»
Вокруг нас
Умственность и рукомесло

Бог и Оська
Небесная Швамбрания
Голубиная книга
Вступительное
Забрили! Оболванили!
Пуговицы
«Наполеон» и кондуит
П. Г.
Голуби-сизяки
Директор
Учительская
Автор кондуита
Инспектор
Агнцы и козлища
Три «Е» и «Тараканий Ус»
Историческая гвардия
Среди блуждающих парт
Царский день
«Наука умеет много гитик»
«Место на глобусе»
Происхождение негодяев
Верхний этаж мира
Лапта в сирени
Первая швамбранка
Проштрафившаяся доблесть
Театр военных действий

Вид на войну из окна
Первое орудие, чхи!
Классный командир и ротный наставник
Братики-солдатики
Мала куча, а...
Неприятель в Покровске
Дух времени
Нас обучают войне
Февральский кондуит
О круглой земле, о больших новостях и маленьком море
Разговор по прямому проводу
Цап-Царапыч гонится за луной, или что сказал об этом кондуит
«Вольно!» — говорит солдат
Самоопределение национальностей
«Боже, царя...» Передай дальше»
«На баррикадах»
Большая перемена
Латинское окончание революции
«Романов Николай, вон из класса!»
Степка-агитатор
Тигренка
Заговор
На Брешке
Калоши директора

Для чего иногда служат разбитые горшки
«Родителям на утешение»
На приеме у скотского
Директор и Оська
Отцы, папаши, батьки
Кондуит директора
Случай на острове Мадагаскаре
Присутствие духа
Цап-Царапыч ставит точку
Реформа единицы
Протеже дамского комитета
Плюс минус Люся
Письмо
Веселый Монохордов
Ландыш в кондуите
Книга вторая. Швамбрания
Швамбранская революция
Поход «Бренабора»
Отплытие
Битва при Шараде
Заповедник героев
Закат выл отменен
Конец кондуита
Хочу заседать
Комбинация из трех пальцев
Сэр Роберт, святой Георгий и добрые дела

Баржа безруких кавалеров
Поражение Георгия-Победоносца
Атлантида
Вверх ногами
Канун
Урок истории
День, не записанный в кондуите
Конец кондуита
Блуждающие острова
Крапива и поганки
Комиссар проверил время
Покорение Брешки
Единственная тайна Швамбрании
За ушко да на солнышко
Точка, и ша!
Деликатная миссия
«Собачья полька»
«Внучки» бесформенные
Матч в «гляделки»
Учиться было некогда
Шишка на ровном месте
Дыхание — 34
Права и обязанности новичка
Учитель в маске
«Мир — это чемпионат»
Решительная, до результата

Э-мюэ и троглодиты
Мамонты в Швамбрании
Вселенский хай
«Бои продолжаются на всех фронтах»
Конь Калигулы
Орда кочует
Алгебра на каланче
Успехи класса «Б»
В собачьем ящике
Не старый режим
Задача с путешественниками
Красные безобедники
Блуждания швамбран, или таинственный солдат
Швамбрания первой ступени
Вход с улицы
Троетётие
Мир и личность
Вокруг Солнца
На новую географию
Владычество вещей
Утеряны следующие документы
Концерт в Тратрчоке
Дезертиры, знакомства, сквозняки
Маркиз и солдафон
Чем пахло мыло

Швамбраны посещают Чека
Новый простор для блужданий
Швамбрания для взрослых
Разгадка гитика
Главный мужчина
На твердой земле
Уроки нам и другим
По дороге туда
Герой желудочного происхождения
Дворец Угря
Приключение в мертвом доме
Эликсир «Швамбрания»
Донна Дина и кузнечики
Когда Фектистка получил фамилию
Подданные новой страны
Простая земля
Нашествие иогогонцев
Большие новости
Возвращение
Огонь и пепел
Земля! Земля!
Глава с глобусом (заменяет эпилог)

Аннотация

В конце зимы 1914 года отбывающие наказание в углу братья Леля и Оська неожиданно для самих себя открывают Великое государство Швамбранское, расположенное на материке Большого Зуба. Так начинается новая игра «на всю жизнь», и происходят удивительные события, и захватывает братьев вихрь головокружительных приключений… Об этом и многом другом — повесть Льва Кассиля (1905–1970) «Кондуит и Швамбрания», любимейшее произведение нескольких поколений читателей.

Первая редакция повести (издание 1935 года).

Лев Абрамович Кассиль
Кондуит и Швамбрания

Книга первая. Кондуит

Страна вулканического происхождения
Открытие

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.

Пропавшая королева, или тайна ракушечного грота

Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а короле-

ва, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король — за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея… Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг — о ужас! — мы заметили исчезновение черной королевы…

Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженые головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с

ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

— Марш оба в «аптечку» — в угол! — закричал в довершение всего отец. — Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

— Если бы я знал, что у меня такой папа будет, — ревел Оська, — ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку».

«Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

— Это он про цирк ругался… что там ведмедь с

вещами обращается? Да?

— Да.

— А вандалы тоже в цирке?

— Вандалы — это разбойники, — мрачно пояснил я.

— Я так и догадался, — обрадовался Оська, — на них набуты кандалы.

В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки.

— Что ж это такое? — негодующе всплеснула руками Аннушка. — Из-за бариновой бирюльки дитев в угол содят… Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

— А ну ее, твою кошку! — буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы…

А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле…

Так думали мы оба, сидя в углу.

— Давай убегем! — предложил Оська. — Как припустимся!

— Беги, пожалуйста, кто тебя держит? Только куда? — резонно возразил я.

— Все равно всюду большие, а ты маленький.

И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную, — пальмы, корабли, дворцы, горы…

— Оська, земля! — воскликнул я задыхаясь. — Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

— Чур, я буду дудеть… и машинистом! — сказал

Оська. — А во что играть?

— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране… в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

— Есть левое вперед! — отвечал Оська. — Ду-у-у-у-у!!

— Тихай! — командовал я. — Трави носовую! Выпускай пары!

— Ш-ш-ш… — шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

— А как она будет называться?

Любимой книгой нашей была в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну «Швабранией». Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы — швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка за-

катила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву. На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

Запоздавшее предисловие

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь.

Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми — нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городовой.

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция — суровый педагог и лучший наставник — помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое…

География

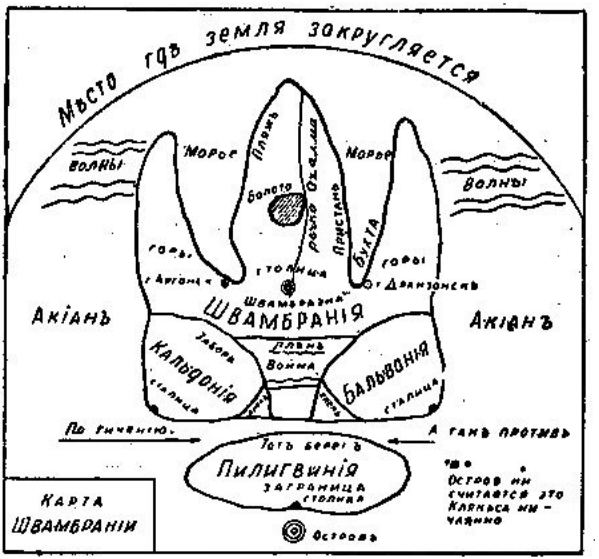
Можно убедиться, что земля поката:
сядь на собственные ягодицы и катись!

Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» — заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Остров ни считается, это клякса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акиан». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж»,

вытянувшаяся стрункой река Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».



Карта Швамбрании в эру пилигвинских и бальвонских войн.

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что

мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатость земли собственным сиденьем… Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закончить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи — не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

— Вот, — изрек Оська, — вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

— Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место — там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбрания. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе — горы, город и море. На востоке — горы, город и море. Налево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту

высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево — залив, направо — залив. На западе — Драндзонск, на востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня — целковый. Справедливость.

История

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась вое-

вать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония» — от слов «колдун» и «Каледония» — и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах…

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плац-парада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

— Вся война покрыта тротуаром, — убеждал я брата.

— А Волга на войне есть? — интересовался Оська.

Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.

По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбрании начинались так. Почта-

льон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

— Распишитесь, ваше императорское величество, — говорил почтальон. — Заказное.

— Откуда бы это? — удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем — я.

— Почерк вроде знакомый, — говорил почтальон. — Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

— А из Кальдонии не получалось письма? — спрашивал император.

— Пишут, — убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу, (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

— Царица! Дай шпильку! — кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в

Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбраны дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано: «ИДУ НА ВЫ».

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы» — телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь при-

глашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб обер-доктора, и начинал призываться.

— Ну-с, — говорил лейб-обер-доктор, — как мы живем? Что желудок? Э-э… стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

— Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву! И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

— Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей, как Россия в старых учебниках истории. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины — путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь

всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

От Покровска до Драндзонска

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошаденок… Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделье, обжорка… Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротеатре «Эльдорадо». Кинематограф — всегда окружали козы. У афиш паслись целые стада, упоённо тряся хвостами, рогатые меценаты обгладывали литографированную грусть с

ресниц Веры Холодной.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка — два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:

— Спозвольте причепиться. Як вас по имени кличут… Маруся чи Катя?

— А ну не замай… Який скорый! — отвечала неприступная. — Ну, хай тоби бис… чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо

плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» — вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

Джек, Спутник Моряков

Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами, жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно, — мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак, и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом.

Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здорово.

— Гром, молния, смерч, тифон, — говорил Джек, Спутник Моряков. — Доннер, блитц, вассерхозе!..

Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур, говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль… Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

— Лоцман посадил меня на мель, — сердился Джек, Спутник Моряков, на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках:

— Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза…

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

— Тихай! — командует Оська отгудев. — Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

— Стой! Спускай трап!

Мы спускаем ноги.

— Готово! Приехали! Слезай!

— С добрым утром!

У тихой пристани

Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль… Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, плененного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюми-

натор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы… Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

— А правда, говорят, на вас киша-кишмят… нет… кимшат, ну, то есть лазают скарлатинки?

— Ну, — обиделся Левонтий, — какие там скарлатинки?.. Это на мне просто так, обыкновенные вши… А скарлатины — такой животной и нет вовсе… Скарланпендря есть, так то насекомая, вроде змеи. В кишках существует.

— А у вас, значит, — обрадовался Оська, — скарлапендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил

шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла,
Васыльку просыла:
Васылько, батько мий…

На Новый год является «проздравить» сам городовой. Он стукает каблуками и говорит:

— Честь имею…

Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

— Зачем это он? — шепотом интересуется Оська.

— Это он отдает нам честь, — поясняю я. — Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.

— За рубль? — спрашивает Оська. Городовой смущен.

— Вы что тут торчите, архаровцы? — раздается бас отца.

— Папа, — кричит Оська, — а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

— Переплатили, переплатили! — хохочет отец. — Полицейская честь и пятака не стоит… Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед…

Домашний капитан

Отец — высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот: заболел

от смеха… А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

— Жри да рожу пачкай, — говорит он нам за обедом. — Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюня! — И ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход — богатеи-хуторяне — сыто бубнит: «Нэ треба…» Потом в газете «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это…

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка за-

сеяна конфетами. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

Циня, дудка моя, эх я, ух я!

Веселуха ты моя, д-эх я, д-ух я!

Весели же ты мене, ух я! Эх я!

На чужой да стороне, да ух я! Да эх я!

А еще вспоминали об отце и такое. Лодочники, грузчики, рабочие лесопилки, депо и костемольного завода пошли убивать хулиганов. От хулиганов этих в слободе не было житья. Полиция бездействовала.

Жители решили избавиться действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала…

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот. Отец вышел за

ограду к толпе.

— Чего надо? Не пущу, — сказал отец, — поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом…

— Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал… Под расписку. Мы б его… вылечили…

— У больного Балбашенко, — строго и раздельно ответил папа, — высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются — это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

— Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

Земля Ханонская

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу… Тогда на сцену выступает мама.

Мама у нас служит модератором (глушителем)

в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама — пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы — упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

— Раз-ын, два-ын, три-ын… Раз-ын, два-ын…

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона»:

— Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый…

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, крупа, вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель — тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной

барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной, воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое — километров за двадцать — село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол — маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте, папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

Гудок разбудил Швамбранию

Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все дома. У нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся

от вьюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком». Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря…» — и посвистывает: «Фефела…» Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке «бочки». При этом податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

— Кркльххх…

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:

— Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

— Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.

Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

— Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш… У… у!.. Средний

ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон.

Слышен папа.

— Ах, мерзавцы! — разносится по дому. — Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Директор велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Директора предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да… Вот как… Вот как… Вот какие вещи происходят, оказывается…

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

Критика мира и собственной биографии

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

Несправедливость.

1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знаком-

ством». И им тоже придется открывать для себя какую-нибудь новую страну, вроде нашей Швамбрании.

2. Директор костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная; у нее нет никакой Швамбрании…

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово:

Несправедливость.

«Мы — демократы»

Позже мы занесли в список несправедливостей и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конеч-

но, совсем не худшие. В огромном большинстве интеллигентских семей ребята воспитывались ещё в тысячу раз хуже. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил: «тпрру», «но», «эй». Но если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

— Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь… только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!» Тем более это, кажется, знакомая…

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

— Тетя, мадам… папа просит вас немножко

подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

Мир животных

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы…

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача.

Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы.

Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме.

— Вот, — сказал папа, — это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько.

Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем каракулевом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер… Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге… Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

«Из хорошего дома»

Нас обучали также хорошим манерам. Прежде всего запрещалось болтать ногами и языком за обедом. Молчание за едой ценилось высоко. Папа учредил премию: гривенник за «молчаливый» обед. Папа уверял, что он не разорится. Папа не ошибся. Никто из нас так и не заработал гривенника.

Пробовали воспитывать нас и чужими, наемными руками. Взяли бонну из «хорошего дома». Звалась она Августа Карловна. Такой злобной ведьмы я больше не встречал. Меня она не взлюбила с самого начала, а мне она была омерзительна до конца.

— Ну-с, — дразнила она, — вот я и к евреям попала. Так, так, хорошее племя… А знаешь, что ваши древние… Христа к кресту прикнопили? Ваше племя бог проклял… И тебе на том свете крыса живот выест. Вот… А знаешь, как вас зовут? Жиды вас зовут… Вот как.

— Вы юдофобка и дура, — говорил я, чуть не плача. — Аннушка тоже говорит, что вы… пожилая хрычиха… Вот. И если вы еще будете, то я

маме пожалуюсь.

— Конечно, конечно, — говорила Августа Карловна. — Иди, иди. Жалуйся. Передавай. Иуда-предатель тоже из ваших был.

И я не мог итти жаловаться. Я плакал по ночам. Обида раздирала внутренности, как крыса, обещанная мне в аду. План мести созрел.

Когда бонна вошла раз в детскую, ее ударила по голове щетка, державшаяся на двери. В этот же момент загремели бубенцы на привязанных к двери вожжах, и ночной горшок синим метеором промелькнул у самого носа Августы. Горшок качался под люстрой... Во время последовавшего затем скандала и отсидки в «аптечке» все выяснилось. Аннушка пошла за извозчиком. Я отказался попрощаться с Августой.

Вокруг нас

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» — с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и

пароходы… Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами — через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев — людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов,

изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки — несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость…

Умственность и рукомесло

Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы. Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера были забиты и сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было пе-

редвинуть пианино и поправить электричество, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и буфетный замок отпускал ключ на волю.

Мама говорила: «Золотые руки» — и пересчитывала в буфете серебряные ложечки...

Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

— Вот она, умственность. А то что наше рукомесло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

— Подумаешь, искусство, — говорил уязвленный папа: — уборную починил... Ты вот мне сделай операцию, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркать!»

Между нашим и полуподвальным этажами под-

держивались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля — зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но… из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их… Но ведь Швамбрания была тоже не что иное, как игрушечная модель замечательного мира.

Бог и Оська

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все что угодно, от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное

он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

— Мама, намажь мне брамапутер…

— Боже мой, — сказала мама, — это какой-то вундеркинд!

Через день Оська сказал:

— Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд: на нем стукают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд». Но у него были и свои верные понятия и взгляды. Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

— Понял, в чем тут дело? — спросила мама.

— Понял, — сказал Оська. — Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть…

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на

улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи, спиной к Оське, сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

— Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать», — сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

— Тетя! — спросил он. — Тетя, а зачем на вас борода?

— Да разве я тетя? — ласковым баском сказала дама. — Да я ж священник.

— Освещенник? — недоверчиво сказал Оська. — А юбка зачем? — И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

— Сие не юбка, — отвечал поп, — а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

— Сейчас, — сказал Оська, вспоминая что-то. —

Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки…

— Ох ты, забавник! — засмеялся поп. — Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор… Так, так… Понятно… Иудей, значит… Про бога-то знаешь?

— Знаю, — отвечал Оська. — Бог — это на кухне у Аннушки висит… в углу. Христос Воскрес его фамилия…

— Бог везде, — строго и наставительно сказал священник, — дома, и в поле, и в саду — везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит… Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

— А бог взаправду или как будто? — спросил он.

— Ну поразмысли ты, — сказал поп. — Ну кто это все сделал? — спросил он, указывая на цветы.

— Честное слово, правда, это не я! Так было, — испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

— Бог все это создал, — продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог, — мне лучше».

— И тебя самого бог произвел, — говорил поп.

— Неправда! — сказал Оська. — Меня мама!

— А маму кто?

— Ее мама, бабушка!

— А самую первую маму?

— Сама вышла, — сказал Оська, с которым мы уже читали «Естественную историю», — понемножку из обезьянки.

— Уф! — сказал вспотевший поп. — Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой. Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.

— Такой смешной весь! — вспоминал Оська. — Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история»

была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

Небесная Швамбрания

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был одет в большую

золотую распашонку, как потом рассказывал всем Оська, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

— Вот дура! — сказал Оська. — Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались…

После посещения церкви мы решили, что цар-

ство небесное — это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»…

Голубиная книга
Вступительное

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

— Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

— Глазное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный

паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный.

Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

— Ну, теперь руки по швам! — сказал он и внезапно спросил: — А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?

— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! — отчеканил я.

— А гимназист?

— Одушевленное…

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

— Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист — существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: *«Купи поросенка за грошш, да посади его в рожж, так будет он хороши!»*

Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии. Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковнославянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал:

— Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Евреям… Вообще иных вероисповеданий…

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

— Тем паче необходимо, — строго сказал батюшка. — Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу. Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

Забрили! Оболванили!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

— Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины — старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитанья, нестройное «ура», разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв — и опять тревожно… протяжно.

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.

Проводили…

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии.

Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

— Совсем зольдат, — говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.

Пуговицы

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк навыпуск. Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» — «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал старичок. — Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон — третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

— Ну, иди, иди, накланялся! — засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженые ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По

классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах — второгодники.

Один из них поманил меня пальцем к себе.

— Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твое фамилие?.. А мое Фьютингеич — Тпрунтиковский — Чимпарчифаречесалов — Фомин — Трепаковский — По-колено — Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

— Ничего, — утешал он, — насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?... Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

— Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? — И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.

— Моя, а то чья же еще? — ответил я.

— А раз твоя, так держи ее! — И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.

— А это чья? — спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

— Не знаешь? — закричал лопоухий второгодник. — Значит, не твоя?

И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

— Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны… Смирно!!! Гавря Степан! Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В кондуит захотел? Ишь, отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал перекличку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

— Туфельд! — кричал он вместо Куфельд. — Варекухонко! — вместо Куховаренко.

Дошла очередь до меня.

— Здесь!!! — оглушительно выпалил я. Инспектор удивился:

— Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

— Пол-десятого!

Инспектор спокойно сказал:

— А я вот тебя, Лев, царь зверей… прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой! — закричал он, как будто я хотел куда-то уйти. — Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

«Наполеон» и кондуит

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С

мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнилась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»…

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы пошли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орган.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него и… наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш

директор — Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил с губами, липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе…

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал: *«Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями».*

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

— Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:

— Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г.

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре — короткий прибой перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока, — веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь — дребедень!»

Другое — в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дрррать вас надо, дрянь!»

Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!» «К стенке!» Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл — отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы

в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».

> «18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.
>
> 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.
>
> Примечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.»

Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимна-

зии… Страшная это была книга! Тайная книга. «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

Голуби-сизяки

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали

солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, лодочники, грузчики, рабочие, немного русских крестьян и немцы-ремесленники.

Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по улицам перед домами друзей. По воскресеньям гуляли по Брешке, лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

— Нэ треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы.

В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы» (так называли здесь хулиганов) были пожилыми, солидными, семейными людьми. От их безобразных выходок в слободе не было никому житья. Полиция боялась тронуть их. Тогда лодочники и рабочие костемольного завода, лесопилок и железнодорожных мастерских

составили список главарей-хулиганов и в одну ночь перебили их всех…

Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова. И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинелей. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, эти господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб на до было ногами перекатить через

неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.

В классах жгли фосфор — для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку

— игрушка пищит. Учитель бегает по классу — пищит. Учитель обыскивает парты — пищит.

— Встаньте и стойте!

Класс на ногах — пищит.

Приходит инспектор — пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит…

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зиньицив…

Директор

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно вылощен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он

становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

— Стой! — сказал директор. — Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал

однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом уж учителю.

В кондуите по милости директора были такие записи:

> Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков.
>
> Гавря Степан… был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков.
>
> Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.)

Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.

— Я доволен, милоштивый гошдарь, — шепелявил он директору. — Порядок у ваш обращцовый.

Учительская

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» — голубая лента, сусальная бородка, пробор с зачесом, ордена, — «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом… Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались «носы», кукиши… Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит,

преклонялись перед храбростью озорников.

Автор кондуита

Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры дожи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась.

В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников — классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

Инспектор

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый, плотный человек. Волосы ершиком. Темные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Ой медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

— Дежурный, — спокойно-зловеще говорил инспектор, — а ну-ка, дежурный… закрой дверь.

Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодавшиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса…

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

— Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам — первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет. — И инспектор щелкал языком и крутил носом. — Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему

сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число… Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, поговорив так около часа, отпускал домой. По одному, с промежутками. Нас уже не держали ноги.

Агнцы и козлища

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так я знакомил нового преподавателя с классом.

— Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть, — агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут — единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «Камчатка», «Сахалин», «хохландия»… Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным» — задним левым углом класса, и «двоечным» — передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа

и сдувания.

Три «Е» и «Тараканий Ус»

Серая тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Учителя свирепствовали. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.

Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, «полатыни», «Тараканиус».

Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка: «Длинношеее».

Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:

— Вениамин Витальич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?

— Есть, — ничего не подозревая, ответил Тара-

каниус, — есть! Например, вот: длинношеее.

Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.

Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках.

У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.

— Тэк-с, — говорил он, — урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается. Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.

И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!

В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:

— Але…ференко!

Алеференко, сидевший позади Алексеенко,

пошел к кафедре, Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:

— Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич… со словами…

И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко.

«Обознался!.. Ой, дурак!..» Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.

— Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уж сам сознаешься, получай по заслугам.

И поставил единицу.

Историческая гвардия

Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе.

Идет!

Все за партами разом вскочили.

Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал. Класс на

ногах.

Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:

— Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал… «садитесь»… Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные — сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы — к стенке!!! Прямо! Ну… Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!

Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы.

Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.

Стоящие нерешительно покашливают.

— Простудились? — спрашивает заботливо историк. — Дежурный, закройте все форточки: на них дует.

Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу.

Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит:

— Ну, гвардия, садитесь…

Ровно через минуту всегда звонит звонок.

Среди блуждающих парт

Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.

До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого — «голубчиками», дальше — «господами».

Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило.

— Не подходите ближе! — вопила она. — От вас, пардон, несет.

— Пирог с пасленом ел, — учтиво объяснял малявка, — вот и несет от отрыжки.

— Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены…

— Что вы, Матре… тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом… пожалуйста… пы-ыж-кытэ ла класс?

От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами — в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:

— Же ву-зем… же-ву-зем… же-ву-зем…

Матрона Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:

— Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не серчайте на своих малявок… Гы!.. Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим…

Матрона таяла, зачеркивала.

Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.

Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-ву-зем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск — очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.

В искусстве же движения парт мы достигли больших результатов. На уроках рисования, например, класс был полон блуждающих парт. А Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, воспользовавшись шумом, ухитрился раз даже уехать на парте из класса. Таким же путем он через пять минут триумфально въехал в класс, заявив обомлевшему учителю рисования, что ездил за водой для акварели. Сосуд же для воды наглухо приделан, как он объяснил, к парте, и без парты поэтому он за водой ходить не может…

Кончилось это увлечение «движением», однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учитель-

ской уехали калоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.

Царский день

С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг.

На календаре — красные буквы:

«Тезоименитство его величества…»

У церкви Петра и Павла — колокол с трещиной:

«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..

Ти-ли-лик-нем помаленьку…

Тилиликнем помаленьку…»

К одиннадцати — в гимназию. Молебен.

В коридоре парами стоят классы. Жесткие, о серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор.

Суетится маленький волосатый регент.

Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно…

— Многая лета! Мно-огая ле-ета!..

— Николай Ильич… Боженов рвать хочет…»

— Т-с-с… Тихо! Я ему вырву!..

— Многая ле-е-ета-а…

— Николай Ильич… он, ей-богу, не сдержит… Он уже тошнит…

— Т-с-с!

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.

— Бо-о-же, царя храни!

Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:

— Ура!

— Урррра-а-а-а-а-а!!!!

Коридор сотрясается. Директор еще раз:

— Ура!

— Урррраааааа!!!

Еще раз… Эх, раз, еще раз!..

— Ура-а!

— А-а-а-а-а…ыак…

— Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол…

— …Боже, царя храни…

Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.

«Наука умеет много гитик»

Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много… этого самого… гитик… Что такое «гитик», никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито» — убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было.

Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посове-

товали обратиться за разъяснением к латинисту.

— От кого ты слыхал это слово? — спросил в затруднении самолюбивый латинист.

И второгодники затихли, предвкушая.

— От нашей кухарки, — ответил я при шумном ликовании класса.

— Иди в угол и стой до звонка, — перебил меня вспыхнувший латинист. — В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок… Болван!

Вообще с проклятыми вопросами мне в гимназии отчаянно не повезло. Например, на уроке истории я интересовался, «почему Ивана Грозного не посадили в тюрьму, раз он столько наубивал зря?»

— Вы что, — побледнел историк, — царя всея Руси… Соображаете?

— Значит, царь, если захочет, может убить? — не унимался я.

— То был жестокий век, — замялся историк. — Видите ли, тогдашние нравы…

— А сейчас? — начал я, но историк вскочил такой разъяренный, что я осекся.

Неприятность вышла также на «русском» уроке. Шли занятия по выразительному чтению. В классе по очереди читали «Тараса Бульбу». Мне

досталось читать место, где запорожцы кидают в Днепр ни в чем неповинных евреев, а те тонут…

Мне до слез было жалко несчастных. Мне было тошно читать. А весь класс, обернувшись ко мне, слушал — кто просто с жестоким любопытством, кто с нахальной усмешкой, кто с открытым злорадством. Ведь я, я тоже был из тех, кого топили веселые казаки… Меня осматривали, как наглядное пособие. А Гоголь, Гоголь, такой хороший, смешной писатель, сам гадко издевался вместе с казаками над мелькавшими в воздухе еврейскими ногами. Класс хохотал, и я почувствовал, что тону в собственных слезах, как евреи в Днепре.

— Я… не буду читать больше, — сказал я учителю Озерникову, — не буду. И все!.. Гадость! Довольно стыдно Гоголю так писать.

— Ну, ну! — заорал грубый Озерников. — Критику будем проходить в четвертом классе, а сейчас заткни фонтан.

И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.

В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший 25 3/4 аршина сукна

по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.

«Место на глобусе»

Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.

Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.

Потом я вытряхнул на швамбранскую почву

содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал:

— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов… а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает…

И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар… А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.

Происхождение негодяев

Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны

противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.

Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.

Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трюме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамбрания оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и т. д. — просто борьба хорошего с плохим. Вот и все. И чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев.

Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шателена. В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках

и печени. На объявлениях уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.

Верхний этаж мира

Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывая вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор

тени, когтистые, как якоря.

Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим.

Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!», хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.

Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал со своей стороны «проборцию и ушедрание»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор.

Лапта в сирени

Дворик, куда я попал, был весь в деревцах. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садик цвел тучно и щедро.

За своей спиной я услышал легкий топот. Из

садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.

— Мальчик, отчего вы торопитесь? — спросила девочка.

— От дворника, — сказал я.

У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похожие на литые мячи, которыми мы играли в лапту.

Я чувствовал, что мне не «отпастись». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один — не нарываться.

— Вы дворников боитесь? — спросила она.

— Неохота связываться, — сказал я басом, — а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.

И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.

— Как это — через плечо? — спросила она. Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:

— А вы в каком классе?

— В первом, — сказал я.

— И я в первом, — обрадовалась девочка, — А у вас классный господин строгий?

— У нас вовсе наставник, а не господин.

— А у нас дама, — сказала девочка. — Злющая — ужас!

Опять немного помолчали.

— А у нас, — сказала девочка, — одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.

— Это что! — сказал я. — А вот в нашем классе есть один — до потолка плюет… Эх, и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать… Только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.

Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрынчал.

— А у меня пряжка никогда не пожелтеет, — сказал я неожиданно, — потому что никелированная… Можете, пожалуйста, потрогать…

И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.

— А меня Тая зовут, по-настоящему — Таисия Опилова, — сказала она. — А вас Леня, да?

— Леля, — ответил я. — Разрешите… очень приятно познакомиться…

— Леля? Это женское имя! — насмешливо протянула Тая.

— Если б женского рода, то с мягким знаком было бы, — убежденно заявил я. Так состоялось знакомство.

Первая швамбранка

Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвя-

щать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.

Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.

На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.

Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.

— А! — воскликнул он, увидя меня. — Это и есть ваш шваброман?

И я понял, что Тая все рассказала ему…

— Послушайте, — развязно продолжал кадет, — вы, штатский юноша… Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?!!! Вы знаете, что такое Каскара Саграда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх

вы, шпак несчастный!.. Сразу видно — докторский сынок…

Это напоминание взорвало меня.

— Кадет, на палочку надет! — крикнул я и полез на крышу.

Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.

Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.

— К черту! — сказал я. Но это относилось не к Швамбрании.

Проштрафившаяся доблесть
Театр военных действий

В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания — в папином кабинете, Пилигвиния — в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».

Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов. Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит:

— Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил… А ты все ползешь. Давай сделаем «чур, не игры»!

— Не «чур не игры», а перемирие! — сердито поправил я. — И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил навылет.

В прихожей, то бишь в «плену», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия.

— Меня будут скоро свободить с плену? — робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.

— Потерпишь! — отвечаю я неумолимо. — Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.

Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».

На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев… На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем

по улицам флажки союзников. В кружках, в тех самых, что остались от «белой ромашки», бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам.

Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит…» Воззвания, манифесты… «Так за Царя, за Русь, за нашу веру…»

«На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: «Николай»…

Мир полон войны. Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры. Мы играем только в войну.

…Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.

Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.

— Клавдюшка, — говорит она, растерянно теребя конверт, — от Петруньки пришло. Попроси

уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив… Господи…

Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилась в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества…» И я читаю вслух радостным голосом:

> «…и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мине ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет…»

Потрясенный, я останавливаюсь… Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу.

Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:

— Он, наверное, получит орден… серебряный… Будет георгиевский кавалер…

Кажется, я сморозил основательную глупость?!

Вид на войну из окна

В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексев.

На площади перед гимназией происходит ученье — строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:

— «Ах цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон!..»

— Равняйсь! Первой, второй… рассчитайсъ!

— «Раскудря-кудря-кудря-ку… раскудрявая моя!»

— Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равняй…

— «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»

— «Чубарики-чубчик гуляла!»

— Как стоишь, сатана? Равняйсь! Стой веселей!..

— Взвейтесь, соколы, орлами…

— Здра-жла! Ваш-дит-ство!..

— Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи ще раз!.. Арш!..

— Ыра-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.

— Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.

Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.

— Ну, что я сейчас объяснил? — пристает Гнедой Алексев. — Не слышал… в окно любовался… Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?

— Он… это… — бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает: — Он равняется направо… Первый, второй, рассчитайся… Плюс ряды сдвоенные…

Класс хохочет.

— Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!

— Слушаюсь! — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки.

Классу совсем весело. Перья поют.

— Мартыненко, убирайтесь вон из класса! — приказывает педагог.

Мартыненко командует сам себе:

— К церемониальному… равнение на кафедру…

По коридору… арш!

— Это что за шалопайство! — вскакивает преподаватель. — Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!

— Чубарики-чубчики… — доносится в форточку. — Как стоишь, черт? Три часа под ружье… Чубарики-чубчик…

Первое орудие, чхи!

Бац!!! За доской выстрелила печка… Трррах!!! Та-та… Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

— Дрянь! — кричит в отчаянии учитель. — Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре.

Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку — надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец.

Гнедой Алексев втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.

Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует:

— Второе орудие, пли!

— Гага-аап-чхи!!! — рявкает несчастный Самлыков.

— Третье орудие…

— Чжщхи!.. Ох!

Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

— Что здесь происходит? — холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимнази-

стов.

— Они… Ох!.. Ао!.. — надрывается Гнедой Алексев. — Чжихи!.. Ох!.. Чхищхи!..

Тогда дежурный решается объяснить директору:

— Ювенал Богданыч, они все время икчут и чихают…

— Тебя не спрашивают! — говорит, начиная догадываться, директор. — Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Алексев плетется за Стомолицким.

Больше в класс он уже не возвращается.

Мы избавились от Гнедого Алексева.

Классный командир и ротный наставник

— Время пахнет порохом! — говорят взрослые и сокрушенно качают головами.

Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны. Каждая парта — пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:

«У ученика IV класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.

У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.

Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.»

У гимназистов гремящая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный

ветер играет на кладбище в «нолики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. Они награждают гору размашистыми георгиевскими крестами своих крыльев, и горизонт выглядит, как грудь героя.

На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.

Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка, царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».

— И то продешевил, — сказал при этом Сидор Долбанов. — Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению,

тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат… и форма и ученье. Верно я говорю?

Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.

— Только, брат, военная наука, — философствует он, уписывая нашу колбасу, — военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнять. Да, Это что там арихметика, алгебра и подобная словесность… А ты вот скажи, если ты образованный; какое звание у командира полка — ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?

— Мы этого еще не проходили, — смущенно оправдываюсь я.

— То-то… А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?

— Строгий, — отвечаю я. — Чуть что — к стенке, в кондуит и без обеда.

— Ишь, истукамен! — посочувствовал Сидор Долбанов! — Выходит, дьявол, вроде нашего ротного…

— А у вас есть ротный наставник? — спрашиваю я.

— Не наставник, а командир, съешь его раки! — важно поправляет Долбанов. — Ротный командир, его благородие, сатана треклятая, по-

ручик Самлыков Геннадий Алексеич.

— Гнедой Алексев! — изумленно выпаливаю я.

Братики-солдатики

Старшие гимназисты гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию.

Мы завидовали.

Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.

— В город прибыли первые раненые из действующей армии, — сказал инспектор. — Мы пойдем встречать их… Эй, «Камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина стоеросовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые… это… того… пострадали за государя и веру православную… Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас… башибузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!

Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.

Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали патриотические речи. Некоторые держали украшенные бантиками костыли. Большинство были совсем легко раненые. Дамы даже негодовали.

— Нет, это, право же, возмутительно, — разочарованно шептались они, — одни пустяковые царапины… Хоть бы один тяжелый случай! Небось, себе Саратов добыл трех почти безнадежных… Кошмарно! Кошмарно!

Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали

чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле «Жаворонка» Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки — поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.

— Просим! Просим! — закричали все, аплодируя. Когда все стихло, раненый сказал:

— Дозвольте сказать… Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные… Мы, значит, через все это… ваши милости… очень к вам благодарны. Только бы… нам, виноват, извините, маленько насчет чтобы, значит, это… поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши…

Мала куча, а…

В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало…

Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников

прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханьем и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке.

Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.

Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей… Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ «кучи мала», когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик…

Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».

Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каждого предмета он находил совершенно новое предназначение.

Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал… отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут» было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.

Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.

Неприятель в Покровске

Вскоре пригнали в Покровск первые партии пленных. Это были австрийцы. В серых кепи, в гетрах и толстых невиданных ботинках, ободранные, запуганные, толпились они у волостного

правления. Плотная толпа любопытных беззлобно рассматривала их. «Австрияки!» — кричали мальчишки. Инспектор повел нас насладиться назидательным зрелищем — поверженного и плененного врага. Воинственная рогатка инспекторской бородки раздвинула толпу. Мы прошли вперед. Голодные смуглые лица покорно глянули на нас. Это и был «неприятель», настоящий, ненарисованный, живой неприятель, тот самый неприятель, под давлением превосходных сил которого наши войска, как пишут в газетах, отступили и т. д. Несколько секунд мы еще пыжились, искусственно нагнетая ненависть, но тут же бросили эти попытки. Ничего, кроме любопытства, не оставалось у нас к чернявым пленникам: мадьярам, венгерцам, чехам…

Инспектор плавно и уверенно, как смотритель музея, рассказывал окружающим об Австрии, о ее флоре и фауне. Вдруг один из пленных вежливо обратился к нему по-русски, но с каким-то акцентом.

— Прошу у пана звинения, — заокал он, — обо зубры у нас не водятся…

Инспектор смутился.

— Ну, как сказать, иногда попадаются все же, — сказал инспектор просительно.

— Во зверинце, — мягко сказал пленный.

В это время за спиной инспектора Степка Гавря успел променять булку с воблой на пару австрийских погон. Пошла бойкая торговля. Но оглянувшийся инспектор велел тотчас прекратить этот, по его словам, непристойный торг, намекнув, что в кондуит можно попасть и за сношение с неприятелем.

Дух времени

На уроке истории учитель говорит:

— Турки, как и все мусульмане, отличаются бесчеловечной жестокостью, кровожадностью и зверством. Их священная книга Коран учит убивать христиан без всякой жалости, ибо, чем больше «неверных» христиан убьет турок, тем больше грехов ему простится. Но в сегодняшней войне турок перещеголяли в зверствах культурные немцы. Они, немцы, варварски разрушили…

Класс оборачивается и укоризненно смотрит на Куфельда: Куфельд — немец. Класс возмущенно смотрит на Реклинга: Реклинг — тоже немец. Класс грозно смотрит и на Крей-Виркеля, на Фрицлера… Крейберг, Виркель, Фрицлер — все немцы. Враги! Неприятель в классе!

— А евреи? — спрашивает вдруг хитрый Гешка Крейберг. — А евреи? Правда, говорят, тоже кровожадные, Кирилл Михалыч? И продают Россию…

Теперь весь класс смотрит на меня. Я краснею так мучительно, что мне кажется, будто хлынувшая в лицо кровь уже прорвалась сквозь кожу щек наружу.

— Это не относится к уроку, — отвечает учитель. — Сегодня мы говорим не о них.

Во время перемены классная доска — эта черная трибуна и вечевой колокол — покрывается крупными надписями: «Бей немчуру!» «Фрейберг — немец, перец, колбаса…» «Все жиды — изменники».

Следующий урок — закон божий. После звонка приходит, как всегда перед этим предметом, инспектор. Он подходит к моей парте.

— Язычники, изыдите! — кричит инспектор. — Дежурный, изгони нечестивых из храма!

Я с немцами покидаю класс.

Немцев не приняли в нашу войну. Их не допустили в гимназическую армию. Гимназия воюет с лютеранской школой. У нас своя армия, у лютеранской — своя. Бои происходят три раза в неделю на Сапсаевском пустыре. Обе стороны

располагают земляными укреплениями, фортами, траншеями, флотом, свободно плавающим по сапсаевской луже, бабками, начиненными порохом, рогатками и деревянными мечами. Мартыненко (Биндюг) — наш главнокомандующий. У немцев есть даже настоящий Вильгельм — Вилька Фиртель, сын шапочника.

На озере происходят ожесточенные сражения. Мы яростно играем в великое кровопролитие. Впрочем, вражда настоящая, и кровь тоже. Начальство знает об этой войне, но проявляет тактическое попустительство.

— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени, — глубокомысленно твердили взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас…

Нас обучают войне

Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой.

Кругом было холодно и бело.

Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах

и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».

Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыханье на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.

Полковник сказал:

— Атака. Фигурки побежали, деловито произнося «ура».

— Все, — сказал полковник.

— Кто же победил? — заинтересовалась публика, ничего не поняв.

Полковник подумал и сказал:

— Те победили.

Потом полковник предупредил, глядя вверх:

— А сейчас ударит бомбомет.

Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.

Бой кончился.

Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик.

Лихо присвистывая и напрягая остуженные

глотки, солдаты пели:

И-эх, если б гимназисточки по воздуху летали,

Тогда бы гимназисты все летчиками стали…

Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.

Забеспокоилась толстая начальница.

— Подпоручик! — крикнул полковник. — Это что за балаган? Отставить!

Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца моего одноклассника Карлушки Виркеля.

— Вот так вояка! — кричали гимназисты. — У нас в классе его сын учится. Вот стоит, немчик.

Молодой ефрейтор крикнул отстающему Виркелю:

— Ей, Франц, подбери шванц!

Все захохотали. Виркель подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Публика смеялась. Карлушка стоял, опустив голову. Красные пятна

ползли по его лицу.

— Ужасно неуклюжий народ эти немцы! — сказала толстая начальница женской гимназии. — Твой отец ведь немец? — спросила она Карлушку.

— Мой отец русский солдат! — сказал Карлушка.

— Врет! — заорали гимназисты. — Немец он! — Мой отец солдат, — повторил Карлушка.

— Твой отец немец, мобилизованный в русскую армию, — строго поправила начальница.

Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.

— Очень стреляли? — спросил Оська.

— Ты знаешь, — сказал я, — война — это, оказывается, ни капельки не красиво.

Февральский кондуит
О круглой земле, о больших новостях и маленьком море

Папа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет — слышно, как щелкнул выключатель, — и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается.

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля! А почему знают, что Земля круглая? Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.

Но Ося не удовлетворен.

— А может быть, он утонул, корабль? — говорит он. — А, Леля? А?

— Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу.

Раскраска местоимений продолжается. Молчание.

— А я знаю, почему знают, что Земля круглая, — говорит опять Ося.

— Ну и знай!

— Знаю! Потому что глобус круглый… Что-о? Вот!

— Дурак ты сам круглый, вот что…

У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но… в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми — стали черными. Рамы были черными — стали светлыми. А главное — не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:

— Я вас слушаю! Что?

Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал

далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:

— Дядечка! Приезжай!

— Ладно, ладно, — смеется в телефон дядя. — А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция… Временное правительство… Царь отрекся… Повтори! — И голос у дяди какой-то необычайно веселый.

— Дядечка! — кричу я. — Как же это так вышло? — Ты еще маленький, не поймешь.

— Нет, пойму, — обиделся я, — нет, пойму! Я уже в третьем.

И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве…

— Вы кончили? — влезает в трубку чужой голос. — Время истекло.

Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.

Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.

— Эх, ты! — возмущаюсь я. — А еще знает, отче-

го Земля круглая! Как не стыдно!..

— Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону… и не заметил.

Я бегу на кухню.

В кухне у Аннушки гость — знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу:

— Аннушка!.. Во-первых, теперь революция… свобода… и без царя!.. А во-вторых… Оське надо штаны переодеть…

И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе:

— Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда? — и грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: — Ну, погоди! Дождались!..

Я смотрю в окна. Но там никого нет. А солдат извиняется:

— Вы меня простите, молодой человек… Уж больно вы меня того… Да как же… Господи ж… Вот спасибочко! Ровно праздник!

Нос у него странно морщится.

Разговор по прямому проводу

В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь — наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:

— Слушаю!

— Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.

— А у меня чего есть! — говорит Нюра. — Отгадайте.

— Еще где-нибудь революция?

— Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.

Я бросаю труб… виноват — захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.

Цап-Царапыч гонится за луной, или что сказал об этом кондуит

На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать…

Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц… Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу — бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.

— Стой! Стой, прохвост! — кричит он. — Городовой! Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг. Луна — сообщница.

Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу… Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:

4 марта был замечен надзирателем на

улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал…

Луна в кондуит не попала.

«Вольно!» — говорит солдат

В гостиную мы перетаскиваем Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на швабру красный Аннушкин платок.

Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:

По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.

В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.

А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:

— А вы отгадайте… Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? Отгадайте.

— Не знаю, — говорит солдат. — Ну, скажи,

кто?

— И я не знаю, — говорит Ося. — И папа не знает, и дядя. Никто.

О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом — за слона, Аннушка назло — за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».

Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.

— Вольно! — говорит солдат, и мы идем спать.

Самоопределение национальностей

На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах…

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля, а Леля! А что такое еврей?

— Ну, народ такой… Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.

— Мы разве евреи? — удивляется Оська. — Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что

мы евреи.

— Честное слово, что мы — евреи.

Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:

— Леля!

— Ну?

— И мама — еврей?

— Да. Спи.

И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!» Спим.

Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.

— Дивный пирог был, — говорит папа, — у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!

Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло.

Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они

нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.

Отец с матерью на цыпочках входят в детскую.

Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:

— А революция пишется через «е», а не через «и»: революция. Ты-ы! — И щелкает меня в нос.

В это время просыпается Ося. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии.

— Мама… — начинает Ося. — Ты зачем проснулся? Спи.

— Мама, — спрашивает Ося, уже садясь на постели, — мама, а наша кошка — тоже еврей?

«Боже, царя…» Передай дальше»

Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так — она поет:

— Вставай, подымайся, рабочий народ… В гимнастию пора!

Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок…

Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчичьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему.

Ося — очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:

— Лошадка, здравствуйте!

Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:

— Ваша лошадка тоже какао пьет? Да?

Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:

— Ребята! Царя свергнули!!!

— !!!!!!

Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:

— Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю. Ну, живо! На молитву! В пары.

Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.

Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.

Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.

Батюшка, черный, как клякса в чистописании,

надел епитрахиль. Молитва началась.

Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых рядах, шепот:

— А в Питере-то революция.

— Это наверху, где Балтийское на карте раскорячилось?

— Ну да, здоровый кружок: на немой карте — и то сразу найдешь.

— А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.

— А как это, интересно, революция?

— Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.

— Вот собаки, негодяи!

— Эх! Сегодня письменная… Опять пару влепит. Плевать! Зато революция!

— …Иже еси на небеси!

— Вот тебе и царь… Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?

— Это не он. Это — Вильгельм.

— И Вильгельма бы тоже!

— А война — это интересно.

— Издали все интересно, а попадешь туда, так живо штаны-то…

— Тише вы!.. А уроков меньше задавать будут!

— …Во веки веков. Аминь.

— Наследник-то в каком классе учится? Небось, кругом на пятках… Ему чего! Учителя не придираются.

— Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!

— Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.

По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:

> «Царя ливерной колбасой по сливочному ряду… Не пой «Боже, царя…» Передай дальше».

— …От Луки святого евангелия чтение…

Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо. Последняя молитва:

— …Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!

Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На

дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:

— Ля-аа… Ля…а-а…

Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает:

— Боже, царя храни…

Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:

— Та-а-ак…

Дисканты завяли.

А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:

— …Сильный… державный, царствуй…

И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.

Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.

Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч.

Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.

Ха-ха… Гы-ги… Ох-хо… Хи-хи… Хе-хе-хе… Ах-ха-ха-ха…

Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.

— Тихо! — говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.

Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников, восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:

— Тихо! У меня слабый голос.

И запевает «Марсельезу».

«На баррикадах»

Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «Сахалина», поднялись двое: лабазник Балдин и

сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.

— Ты что тут звонишь, жидовская морда? — сказал он и замахнулся.

Громадный Мартыненко (Биндюг) подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:

— А ты что лезешь? Монархыст…

— Твое какое дело? Балда, дай ему!

Балдин безучастно грыз семечки.

Кто-то сзади в восторге запел:

Пароход баржу везет,
Батюшки!
Баржа семечки грызет,
Матушки!

Балдин ткнул плечом в грудь Биндюга. Произошел обычный негромкий разговор:

— А ну, не зарывайсь!

— Я не зарываюсь.

— Ты легче на повороте.

— А ну!..

Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина,

вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного «Франзель идет!» — заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.

Большая перемена

Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца — пропасть. А городовых — ни одного.

— Кто против царя — сюда! — закричал Степка Гавря, по прозвищу Атлантида. — Эй, монархисты! Сколько вас сушеных на фунт идет?

— А кто за царя — дуй к нам! Бей немцев и жидов!

Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.

Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии… Но мы уже по-

беждали. «Монархистов» прижали к воротам.

— Сдавайтесь! — кричали мы им.

Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.

Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ (Высшее начальное училище). С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сизяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас.

— Бей сизяков! Гони голубей! — засвистела эта орава, и нас «взяли в работу».

— Стой! — вдруг закричал Степка Атлантида. — Стой!

Все остановились. Степка влез на сугроб, проваливаясь, снова влез и снял фуражку.

— Ребята, — сказал он, — хватит драться. Повозились — и ладно. Ведь теперь будет… как это, Лелька… тождество?.. Нет… равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе…

Он помолчал немного, не зная, что сказать.

Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».

— Давай пять с плюсом! — сказал он и крепко пожал школьникову руку.

— Ура! — закричал я неожиданно для себя и сам испугался.

Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со школьниками.

В это время сердито зазвонил звонок.

Латинское окончание революции

— Тараканиус плывет! — закричал дежурный и кинулся за парту.

Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он зашел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.

Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.

— Это что за украшение?

Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно-унылым голосом ответил:

— Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.

— Упал? Тзк-тэк — с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Красота! Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что сегодня у нас задано?

Я стоял, вытянувшись, перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.

— Тэк-с, — сказал Тараканиус. — Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.

Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...

В клетку, как синицу,
За четверть в этот год
Большую единицу
Поставил педагог.

На «Сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.

Это было уже невыносимо; Я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.

— Тихо! Эт-то что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!

Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы

сказал:

— А все-таки царя свергнули…

«Романов Николай, вон из класса!»

Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель — веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:

— Вот, голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здорово!

Мы обрадовались и зашумели:

— Расскажите нам про это… про царя!

— Цыц, голуби! — поднял палец Никита Павлович. — Цыц! Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.

Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.

— Чего тебе, Гавря? — спросил учитель.

— В классе курят, Никита Павлович.

— С каких пор ты это ябедой стал? — удивился

Никита Павлович. — Кто смеет курить в классе?

— Царь, — спокойно и нагло заявил Степка.

— Кто, кто?

— Царь курит. Николай Второй.

И действительно. В классе висел портрет царя.

Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску.

Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.

— Романов Николай, — воскликнул торжественно учитель, — вон из класса!

Царя выставили за дверь.

Степка-агитатор

Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору. Но ото мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового распла-

каться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала-Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.

С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Гала-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.

— Зря! — сказал Степка Атлантида. — Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок; вежливый! Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо ж и им все раскумекать.

И Степка полез через забор.

Мы прильнули к щелям.

Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» — вскрикнули девочки, на мину-

ту остановились» а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.

— Атлантида Степан, — сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос, — можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.

— Через забор лазает, — степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка. — Фулиган!

— Не фулиган, а выборный, — обиделся Степка. — Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!

И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:

— Девчонки… то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни…» на молитве не пели и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть… Вы как, за свободу или нет?

— А как это — свобода? — спросила Лисичка.

— Это — без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать — здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.

— Я, кажется, за свободу… — задумчиво протя-

нула Лисичка. — А вы как, девчата?

Но девочки вдруг, испуганно озираясь, зашептались:

— Тигренка идет! Тигренка! Лезьте скорее обратно. Попадет вам.

Тигренка

От гимназии быстро семенила по двору совсем не похожая на грозного владыку джунглей сморщенная классная дама «Тигренка», — так прозвали ее гимназистки за привычку вечно напевать себе под нос легкомысленную песенку о каком-то пылком тигренке. «Тигренок пылкий мой...» — напевала и сейчас классная дама и вдруг замолкла. Затихли гимназистки. Замерли и мы под забором.

— Как? Что?! Кто это?! Почему здесь?! Ай-ай-ай! — завизжала Тигренка. — Пожалуйте за мной, молодой бессовестный человек. Ай-ай-ай-ай!

И тут произошло нечто такое, о чем говорили целый год потом с восхищением в коридорах обеих гимназий, о чем повествуют внушительные строки кондуита. Степка посмотрел с серьезным любопытством на беснующуюся классную даму, как привык смотреть у себя на хуторе на взды-

бившуюся в постромках лошадь. Потом в глазах его появился вдруг озорной блеск. Он улыбнулся, отвернул полу шинели, вынул из кармана брюк коробочку «Ю-Ю», постукал по крышке, открыл и невозмутимо протянул ее классной даме:

— Закурим?

Мы и гимназистки обомлели в восторге и сладком ужасе.

Тигренка хотела что-то сказать, раскрыла рот, да так и осталась. Дряблая щека задергалась, как лягушечья лапка. Степка закурил, потушил спичку, положил обратно в карман коробочку, вскочил на забор и, взглянув сочувственно на окаменевшую классную даму, сказал:

— А царя-то ведь, мадам Тигренка, того… фьють! — И показал коленкой.

Гимназистки теперь все были «за свободу».

Заговор

Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:

— Знаешь, учителя хочут попереть Рыбий Глаз,

ей-богу. Я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту… как ее… манихвестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побег: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар!

Совсем уже в дверях он грозно повернулся:

— А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю…

На Брешке

На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился… Кхе-кхе!

На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет» города: солидные акцизные чиновники, податной инспектор,

железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты.

Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы…

В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:

…Раздайся, клич мести наро-о-дной…

Вперед, вперед…

Вперед, вперед, вперед!

На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые калоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:

— Хоспода! У Петрограде и у сей России рывалюция. Его императорское величество… кровавый деспот… отреклысь от престола. Уся власть — Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!

— Ура! — закричала толпа.

А Атлантида сейчас же добавил:

— И долой директора!

Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.

На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора:

— Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.

Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.

А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы. Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..

Калоши директора

Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги.

Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:

— Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!!

Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг! Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:

— Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!

Тогда в конце коридора, по которому тек, вы-

ливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.

Стомолицкий насторожился.

— Э-э, в чем дело, господа?

— А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданыч, — мягко заколыхал бородой инспектор, — что вы… Да вот извольте прочесть.

Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «Отстранить».

Но директор не хотел сдаваться.

— Э… э… я назначен сюда округом, — сказал он холодно, — и подчиняюсь только ему. Да-с… И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас, — он щелкнул крышкой золотых часов, — предлагаю приступить немедленно к занятиям.

— То есть как это так? — вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов. — Вы… вы отстранены! Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может… Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!

В дверь перла с молчаливым любопытством

толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:

— Правильно, Кирилл Михайлович! — И, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому: — Долой директора!!!

Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила.

— Долой! Вон! До-ло-о-ой!!! Ура!

Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.

Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь:

— Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.

— Мы еще посмотрим, господа! — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.

Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава, — и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Мокеич:

— Калошки-то, Ювенал Богданыч! Калошки позабыли!

Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:

— Нтц-нтц-нтц! А-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без калош дует!

И вдруг рассмеялся:

— Ишь, наворачивает! Чисто жирафа. Ну-ну! Смеху, прости господи. Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.

— Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!

Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стомолицкого.

— Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!

Захватывало дух. Директор, сам директор, пе-

ред которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал.

В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:

— Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!

Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.

Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:

— Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?

Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.

Оставшуюся же директорскую калошу мы повесили на лампе в уборной, как трофей. Все секретные собрания у нас всегда происходили в этом неароматном месте, и с того дня наши сборища

получили название «Орден рыцарей калоши».

Для чего иногда служат разбитые горшки

Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом, созываемое по вопросу об отстранении от должности директора гимназии. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.

Председательствовал на дворе коновод старших — восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе божьем. Митька важно сидел на бревнах и объявлял: стучал в разбитый ночной горшок.

Горшок нашли на помойке за бревнами. Он служил председательским звонком.

— Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.

— Со двора, что ли, их выставить? Могем!

— Ха-ха-ха! В два счета.

— Господа! Выдвигайте кандидатов!

— Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-ха!

— Господа! — возмутился Ламберг и застучал в горшок. — Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя, как «высшие начальные». И в такой момент… Ти-и-ише!

— Брось, ребята! Маленькие?

Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.

— Еще есть вопросы?

— Есть! — И Атлантида вскарабкался на бревна. — Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху жрать. Да!.. Нам фасон надо загибать круче. Рыбий глаз надо крыть и хвост и в гриву. И вот чего. Выборные были чтоб от нас и от них. И без никаких!.. Слабода — так слабода!

— Правильно, Степка! Требовай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!

Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в горшок, который служил теперь барабаном. Выборных понесли к воротам.

— Уррра-а-а!

Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая.

Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.

«Родителям на утешение»

Оскорбленный директор решился на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.

Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за ученье или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Родителям на утешение».

Но сейчас считаться не приходилось. Директор

поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором.

На приеме у скотского

Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно-едким. Директора мутило, но с полной готовностью, крепко пожал он протянутую руку.

Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой.

Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно

благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.

Директор и Оська

Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении: «Желателен врач неиудейского вероисповедания».

Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.

Директор ждал в гостиной. В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики и выпуклы были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.

В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно. Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:

— Вы на прием? Да?

— Нет! — серьезно и хмуро ответил директор. — Я по делу.

— А-а! — воскликнул Оська. — Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков — всех. Я знаю… А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает…

— Это ошибка, мальчик, — обиженно прервал его Стомолицкий. — Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.

— Ой!.. — с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел директора. — Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий… Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий… нет, Рыбин… вспомнил!.. Воблый Глаз?

— Меня зовут Ювенал Богданович, — сухо сказал директор. — А тебя как зовут, мальчик?

— Меня — Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?

— Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше… м… гм… ты уже умеешь читать? Да… ну, скажи… м… гм… вот… куда впадает Волга? Знаешь?

— Знаю, — уверенно ответил Ося. — Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?

— Не знаю, — постыдно признался директор.

— Никто не знает, — утешился Ося, — ни папа, ни солдат, никто… А вот Воблый Глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?

— Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?

— Конь… Как же еще? У лошадев не бывает фамилие.

— Неверно! — строго пояснил директор. — Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал.

— А вас — Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый… Это я спутал. Да ведь?

Вошел папа.

— Какой развитой и смышленый мальчик ваш сын! — с ангельской улыбкой сказал, изогнув-

шись, директор.

Отцы, папаши, батьки

У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж…

Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.

— Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу…

За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.

Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.

— От этого архаровца всего можно ожидать, — заявил инспектор. — Такое еще сморозит…

— Я буду тихо, Николай Ильич.

— Мокеич, выведи его отсюда!

— Ну-ка, выкатывайся, милок, — толкал Мокеич расходившегося Степку. — Выборный… тоже.

Горлопан!

Степка очень обиделся.

— Как хотите, — сказал он, уходя, — только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.

В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек… Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались.

Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.

Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал. Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.

Толстый мукомол из думы, Дуднил, стал защищать директора:

— Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба… А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так катьегорически и буде. Та и время дюже кипятливое, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?

И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся — попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.

Кондуит директора

Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.

— Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы… директора не можем?.. Вы — родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти

опостылевшие теперь стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети… когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот рубахи — восемь часов без обеда… Фуражку снял не за козырек — выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя… форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..

Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской. Очень тихо стало в комнате.

Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости. Он оправдывался.

— Личные счеты, — говорил он. — Закон… дисциплина… служба… округ.

Его прервал громадный и черный машинист Робилко, длинный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:

— Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрошать надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для

чего выбирать было?

Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь.

— А вы что можете сказать? — обратился председатель к Шурке Гвоздило.

Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.

Рыбьи глаза директора гадливо рассматривали его.

Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется — придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно, Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.

— Мы все за долой директора! — выпалил он. Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась.

Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.

Случай на острове Мадагаскаре

...На Индийском океане внезапно разыгралась буря явно подпочвенного происхождения. Голубая гладь заволновалась. Великий пустырь Сахары извивался в судорогах землетрясения. Все пришло в неистовое движение. Громадная карта Африки, заколебавшись, рухнула с треском на пол, а прямо на остров Мадагаскар свалился Атлантида. Когда в начале заседания потух свет, он в темноте забрался за карту и устроился в нише стены. Нечаянно он вывалился из своего укромного гнезда. Глаза Степкины сверкали. На лбу зрела и наливалась здоровенная шишка. Почва Мадагаскара оказалась чрезвычайно твердой.

— Гавря! — закричал инспектор. — Вон отсюда!

— Я буду тихо, Николай Ильич.

— Мокеич, выведи его отсюда.

— Ну-ка, выкатывайся, милок, — толкал Мокеич расходившегося Стёпку. — Выборный... тоже. Горлопан!

Задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее

всех был унылый нос директора.

Присутствие духа

Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец постановили:

«…Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».

Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине.

Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:

— Эх, молодость, молодость! Задору-то!

— Выборные от первоклашек-сопляков… Ха-ха-ха! Уморил, уморил!

Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер

пряжку пояса.

Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза.

Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: уудж-уррдж-ууу...

Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу: дескать, его присутствие больше не требуется и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слипающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а «присутствие»

стало бросаться в Шурку точкой над I. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сун-ча.

— Что вы имеете сказать? — спросил председатель.

Все повернулись к Шурке.

Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно:

— Позвольте выйти!

Цап-Царапыч ставит точку

Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Тряпье туч стерло с него все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру.

— Шурка, ты? А я тебя все жду... Замерз, як цуцик.

— А-а, Атлантида! — узнал Шурка.

— Ну как, что? Расскажи.

Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил:

— Чего там рассказывать! Мы, конечно, доби-

лись своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора. А ловко это ты сверзился…

— Постой! А насчет выборных как же?

— «Выборные, выборные»!.. Вот тебе твои выборные — выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными!

— Эге! Здорово! Чего же вы добились? Это разве революция?! Директора поперли, а заместо его инспектора посадили. Эх!..

И Степка исчез в темноте. Гвоздило, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка — деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители.

Последним ушел из гимназии Цап-Царапыч. Он задержался, записывая в кондуитный журнал новое преступление Степки Атлантиды. На странице Гаври Степана появились подробно изложенные Цап-Царапычем похождения Атлантиды на острове Мадагаскар. Так кондуитом, хвостатой подписью Цап-Царапыча, кончился этот знаменательный день.

Реформа единицы

В учительской повесили новый портрет: волосы ершиком, отвороченные уголки стоячего воротничка, как крылышки херувима… Александр Федорович Керенский.

На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам, перед уроками, стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг: он отменил отметки.

— Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом непедагогичны, — распинался Ромашов перед родительским комитетом.

Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки — «неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «отлично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил

однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «совсем плохо с двумя минусами». Так и за четверть вывел.

— Если принять «плохо» за единицу, — высчитывал Биндюг, — то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..

Протеже дамского комитета

Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку.

Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел

учиться.

В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Портянко, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс.

Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояло: «Подпись родителей». С великой гордостью, пачкая табель масляными пальцами, подписывалась кухарка. «Перасковия Портянк», — выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.

Плюс минус Люся

Весь класс знал, что Аркаша Портянко влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви: «Аркаша + Люся =!!» Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой:

— Ишь каку симпатию себе нашел!.. Кывалер… Наказание!

Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей.

На рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына.

— Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик, — сладко заговорила она, — и приходи со

двора. Люсе сейчас некогда. У нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы.

С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно. Осунулся и учиться стал хуже.

Потом, в феврале, на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенными стебельками ландыша.

Письмо

«Многоуважаемая, дорогая, милая Люся! Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шеям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька, золотая, так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу,

потому что не хочу, а не потому вовсе, что, как Лизарский говорит: это оттого, что смотреть обидно, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб? Видал миндал? Ну и пусть бреш… (зачеркнуто) лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту (значит, за царя), он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами можем быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция потому что, и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. До чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог… Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь. Ну до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово стремлюся, я и перенес с большого «Л»: стрем-Люся… А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится. И ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода,

равенство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петьку я на вас серчать не буду. Потому что тогда был царь и триста лет самодержавие.

И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только переворот вот и вы, миленькая Люся… Сроду так не плакал, как тогда, на первый день.

Я не стерпел и написал, хотя это против гордости. Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну. Я посылаю вам ландыш, это из того букетика… Ваш Портянко Аркадий, ученик 3-го класса. Простите, что помарки. Пожалуйста, разорвите это письмо».

Веселый Монохордов

Учитель алгебры носил странную фамилию — Монохордов. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые бегемотовы щеки. «Рыжий баргамот» — так звали мы его.

Монохордов отличался непонятной, зловещей и неистребимой веселостью. Он вечно хихикал.

— Хи-хи-хи! — заливался он тоненьким сме-

хом. — Хи-хи-хи… Вы ничего не знаете. Здесь, хи-хи-хи… плюс, а не минус… хи-хи-хи… Вот я вам, хи-хи-хи… поставил… хи-хи… единицу.

На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой, еще раз перечитывал его. Увлекшись, он не заметил, как подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Аркаша рванулся, но было уже поздно; толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо.

— Ха-ха-ха! — восторгался рыжий педагог. — Письмецо! Х-хи… незапечатанное. Интересно, интересно… хи-хи… ознакомиться… чем вы занимаетесь на моих… хи-хи… уроках!

— Отдайте, пожалуйста, мое письмо! — дрожа всем телом, крикнул Аркаша.

— Нет… хи-хи… извините. Это… хи… мой трофей…

Рыжее хихиканье наполняло класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У доски томился забытый ученик с белыми от мела пальцами. Педагог читал.

— Хи-хи-хи… занятно… — залился он, кончая чтение. — Любопытно… Послание… хи-хи… даме сердца. Могу в назидание… хи-хи-хи… прочесть вслух.

— Читайте! Читайте! — обрадованно заревел

класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши.

И, останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люсе. Все, с начала до конца. Класс гоготал. Помертвелый Аркаша сидел как оплеванный.

Ландыш в кондуите

— Рановато, Портянко, начинаете, — смеялся учитель. — Хи-хи… рановато…

Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми. Но жгучая обида подхлестнула его.

— Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович, — тихо сказал он нехорошим голосом. И класс разом перестал смеяться.

— Нет, — ухмылялся Монохордов, — это мы в журнальчик… хи-хи…

Тогда Аркаша стал буйствовать.

— Вы не смеете, — взвизгнул он, топая ногами, — не смеете! Чужое письмо… Это — как украсть.

— Вон сейчас же из класса! — заорал Монохор-

дов, тряся налившимися щеками.

— Не забывай, что ты бесплатный… Вылетишь… хи-хи… как воздушный шар.

Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Ромашов.

— Мерзавец, — нежно и мягко журил он, — как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалопая этакого. На каторгу пойдешь, подлец. Что вздумал, нахал! А?

Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок, этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно: мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.

Книга вторая. Швамбрания

Швамбранская революция
Поход «Бренабора»

Чтоб установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят великий поход швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 1917 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся: точная карта Швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна «Бренабор». Приводить его здесь целиком не имеет смысла. Он велик и скучен. Многое в нем будет непонятно сегодняшним читателям. Поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде, а в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбранский стиль. Затем необходимо рассказать следующее.

Швамбранским императором был в то время некий Бренабор Кейс Четвертый. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда авто-

мобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбрании к Зубу Швамбранской Мудрости, пароходу Джека, Спутника Моряков, и Черной королеве — хранительнице тайны — прибавились еще автомобили.

Царь Бренабор № 4 был довольно покладистым малым, но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него. Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бренабор усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй Уродонал Шателена засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренабор катался на лодке, услышал, что откуда-то разит, и спас нас.

В то время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало: многие мамаши уверяли, что всех детей, даже и не приемышей, находят в капусте…

Эскадра состояла из флагманского судна «Бренабор» и кораблей «Беф Строганов», «Жюль Верн», «Металлопластика», «Принцкурант», «Каскара Саграда», «Гратис», «Покоритель бурь», «Гамбит»

и «Доннерветтер». Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатам. Происхождение имени Сатанатам оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля: «Сатана там правит бал», слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получалось: «Сатанатам». Оська потом интересовался, кто это такой Сатанатам — дирижер?

В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек, Спутник Моряков.

Отплытие

«Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом, — так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса. — Вид на море был очень красивый. Сто тысяч солдат и миллион народа провожали нас.

Духовой оркестр играл очень сильно — получилась манифестация. Нью-Шлямбург был весь иллюстрирован. (Ошибка: адмирал хотел написать «иллюминован».) На мне были белые брюки клеш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая

черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой, и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный...» У пристаней стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами. Военно-пассажирский дредноут «Бренабор» был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали двугривенный, хотя овсы в Швамбрании были дешевы. Шесть труб «Бренабора» дымили, как шесть хороших пожаров. Гудок его был в десять тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега.

— В машине приготовиться! — скомандовал я.

— Пронта ля машина, — сказал Джек, Спутник Моряков, — штее фертиг бей дер машине!

Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест:

— Ой вы гой еси, швамбранские чудо-богатыри! Мы, божьей милостью император швамбранский, царь кальдонский, бальвонский и тэ дэ и тэ пэ, повелеваем вам счастливого пути и взад и вперед. Если встретится по дороге война, сражайтесь что есть силы... Гоните врагов в хвост и в

гриву. Моряки! Все века, сколько их есть и будет, смотрят на вас с вершины этих мачт! Марш вперед, друзья, в поход!.. Ах, громче, музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, а то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море на зюйд-вест. С нами бог, трогай с богом!..

Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом, с ударением на первом слоге:

«У-ра, у-ра! — закричали
Тут швамбраны все. —
У-ра, у-ра — и упали...
Туба-риба-се!
Но никто совсем не умер,
Они все спаслись.
Всех они вдруг победили
И поднялись ввысь!..»

«Бренабор» дал третий свисток в десять тысяч верблюжьих сил. Всадники попадали, кони разбежались. Кто стоймя стоял, тот сидьмя сел. Кто сидьмя сидел, тот лежмя лег. Ну, а кто лежмя лежал, тому уже ничего не оставалось делать. Пароходы отваливали. Поход начался.

— Пишите! — сказал царь.

Эскадра шла полным ходом. Флаги пышно развевались. Впереди всех шел «Бренабор», высокий и стройный. Он тянул сто узлов в час. Ветер крепчал. Волны бурлили. Вечером был закат.

Битва при Шараде

Плавание шло благополучно. Утром бывал восход, вечером — закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель и миновав мыс Гиальмар, обогнула Канифолию и от мыса Кегли повернула к Драндзонску. Навстречу нам был выслан небольшой однобортный корабль. (Опять ошибка: однобортными бывают пиджаки, а не пароходы.) Жители Драндзонска встретили нас с папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через два дня мы бросили якорь в гавани Матчиша.



Карта Швамбрании эпохи Бренабора IV.

За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. (Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственны. Но адмирал был женоненавистник.) В мужественных лесах мы охотились на диких коньяков.

Коньяки были животными, взятыми из рекламного ребуса известной виноторговли Шустова. Коньяки водились только в Швамбрании. Голова у них была как у буйвола, а все тело конское. Они бодались и лягались. Они были свирепы.

Затем мы с Сатанатамом исследовали пустыни Кор и Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека Спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пилигвинии. Им командовал подлый изменник граф Уродонал Шателена.

— А, грот-бом-брам-рей! — выругался Джек, Спутник Моряков. — Форбом-брамфордуны и бакштаги! Унтер лиссель левый, тоже правый... Пломбирен зи ди шифсреуме!.. Запломбируйте все трюмы!

И он стал сверкать очами. А Уродонал Шателена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой. Корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж. Но началась настоящая Ходынка, которая кончилась для нас прямо Цусимой. Корабли «Металлопластика», «Доннерветтер» и «Беф Строганов» пошли на дно, а остальных взяли на буксир пилигвины.

Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндия в Ядовитом океане. Только наш гордый «Бренабор» не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий несся на всех парусах. Был остров на том океане. Пустынный и мрачный гранит. Назывался он островом Наказань и входил в Пилюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе, в ракушечном гроте, жила Черная королева. Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко.

Затем мы миновали опасные острова Хину, Биомальц, Микстуру, Какао и Рыбьежирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семи Школяров. Мы приближались к острову Лукоморье.

Заповедник героев

Принц и Нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины и Маленькие Мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, ма-

ленький лорд Фаунтлерой, двенадцать егерей, три пряхи, семь мудрых школяров, тридцать три богатыря, племянники дядьки Черномора, Последний день Помпеи и Тысяча одна ночь вышли встречать нас.

— Здравия желаем, ваше ослепительство! — гаркнули они нам.

На берегу стоял дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет — книжки читает вслух, идет налево — граммофон заводит. Прямо как в цирке у Дурова. А на скале сидел Сфинкс. Он сочинял шарады и ребусы.

Знакомые образы населяли остров. Остров Лукоморье был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета.

Навстречу нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, Неизвестный Рыцарь, потом Всадник без головы. За ним погонял свою клячу Дон Кихот Ламанчский. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон Кихот. За рыцарем печального образа скакал на Коньке-горбунке Иванушка-дурачок и показывал всем язык. Далее следовали

на огромных битюгах породы трекенер три богатыря: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Битюги были запряжены в царь-пушку.

За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал Неизвестного Рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс.

Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый попугай и клювом вынимал из кармана хозяина билетики со «счастьем».

— Гобин Кгузо! — картаво крикнул попугай.

И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь и нес разные покупки. Он был совершенно голый. Никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано: «Пятница».

Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а Пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска:

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
МУЖСКОЙ И ДАМСКИЙ
ХИТРЫЙ ПОРТНЯЖКА
ОДНИМ
МАХОМ СЕМЕРЫХ ОБШИВАХОМ.

— Это про нас написано, — сказали семь мудрых школяров.

Вечером в честь нашего посещения было устроено большое гулянье с фейерверком в Таинственном саду. Там гуляли Голубые Цапли и летали Синие Птицы. Там пели Золотые Петушки и неслись Курочки Рябы. А белки насвистывали «Во саду ли, в огороде».

И мы там были и мед пили. А так как усов у нас не было, то все в рот попало.

Закат выл отменен

Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном.

Из Швамбрании пришла телеграмма:

«В Швамбрании народ волнуется. Возмущены битвой при Шараде. Бренабор немножко отрекся. Временный правитель — Уродонал Шателена.»

Через полчаса «Бренабор», запломбировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в Гориясное море. Мы прошли Лилипутию, Шелапутию, Порт-Ной и Пришпандорию.

Мы переименовали наш корабль в «Каршандар и Юпитер». Корабль стоял за республику: мы отреклись от царя-изменника. Ведь Бренабор № 4, чтоб не упускать власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала Шателена охраняли плоскогорье Козны, засев в ущельях Ныки, Плоцки и Сок-Панока. Нам пришлось идти к Канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях Порт-у-Пея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клек, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в Порт Янки.

Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят революционным восстанием. Только Кондору захватил десант Уродонала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря. Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча.

Пройдя мысы Рич-Рач и Биль-Боке, мы посетили порт Сигар и наконец бросили якорь у Каршандарской Ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Арделяр Каршандарский.

Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком, в запломбированном трюме одного парохода, пробрался в Нью-Шлямбург.

Я жил в столице, загримировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бренабор узнал меня по рассеченной левой брови. Уродонал арестовал меня и предал военному суду.

Процесс адмирала Арделяра Каршандарского длился целый день (воскресенье). Дневник адмирала передает этот суд так:

«Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых, красивый и стройный. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убег. Главным председателем всех судей был бывший Бренабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратом служил лично граф Уродонал Шателена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был Сатанатам, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Уродонал — сам! А Бренабор говорит мне; «Господин подсудимый! Даю вам пять минут, можете выразиться последними словами». Тут я встал, высокий и стройный, и вся публика

стала совсем тихая. «Господа судьи! — вскричал я. — Вы арестованы от имени Свободного Материка Большого Зуба!» В это мгновение ока в залу вбежал с революционерами Джек, Спутник Моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричит «ура», и получилась бурная овация».

О закате в этот день адмирал ничего не пишет.

Очевидно, в Швамбрании по случаю переворота был сплошной, непрерывный восход…

Конец кондуита
Хочу заседать

Всюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в Совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя новой думы. Дума ссорилась с Советом, и поэтому папа ссорился с мамой.

Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Витя очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. И я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов.

Я достал много книг о системе «скаутинг», прочел их и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью.

— Господа, — ораторствовал я, — довольно биться на переменах, шпарить в козлы и быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компа-

нию, дружную команду такую, ну, кружок… Не будем врать, курить, ругаться… Будем маршировать, устроим клуб, станем заседать, выберем начальника, станем юными разведчиками, бойскаутами. Как по-вашему?.. Кто хочет стать бойскаутом?

Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то, прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит…

Комбинация из трех пальцев

В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников.

Мы заседали совсем как взрослые. Говорили речи, вели протокол. Было создано два отряда.

Начальником главного штаба выбрали меня. Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем: он слыл у нас за самого честного.

Был принят устав: не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые де-

ла, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложенных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута: скаут верен богу, своему слову и народу. Собственно в книжке было написано: «...и царю». Но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он... не верит в бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что бог — это вроде совести и вообще для проформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получается. Вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря отрапортовал присягу и обещал в неделю отучиться курить.

Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно.

Многих родителей мы записали членами-соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом. Но мог это сделать лишь Биндюг. Его избрали горнистом. Польщенный Биндюг старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахались в сторону,

а пароходы просто завидовали.

В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь.

Я гордился…

Сэр Роберт, святой Георгий и добрые дела

Но вот все было сделано: комната обставлена, знамя повешено, присяга принята, начальники выбраны, устав выучен, все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль и какое отношение имеет к нам святой Георгий-победоносец.

Что было делать дальше, никто не знал; устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это.

Попробовали заниматься добрыми делами. Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, поправлять изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида

попробовал взять сумку, подняла такой крик, что сбежался народ, и Степку чуть не побили…

Потом выяснилось, что скауты мои делали «добрые дела» таким манером: они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому палисаднику и ломали его. А утром те же ребята появлялись в роли благодетелей и с чинными великопостными рожами поправляли палисадник. За это они получали десять очков на конкурсе добрых дел.

Скучно стало в дружине.

Помощи от небесного шефа нашего, Георгия-победоносца, ждать было нельзя. Сэр Роберт на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог.

От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком.

Баржа безруких кавалеров

Пришла осень семнадцатого года. Это была первая осень без царя.

Она была похожа на все предыдущие осени, это осень — с дынями, мелководьем и переэкзаменовками.

Осенью в Саратов приплыла баржа георгиев-

ских кавалеров. На барже помещался «музей трофеев».

Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм.

На борту баржи краснела надпись: «Война до победного конца». Из-под нее предательски просвечивало замазанное «За веру, царя…» Все служащие баржи, от водолива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли. Зато у всех качались на груди георгиевские крестики.

Три часа бродили мы по барже. Мы совали головы в многодюймовые жерла австрийских гаубиц и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-«чемодан». В такой чемодан можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней остались прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь… Руководитель со смаком подчеркивал это.

У руководителя были офицерские погоны, две естественные ноги, и он жестикулировал обеими

целыми и выхоленными руками.

Поражение Георгия-Победоносца

На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером в тот же день он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами.

— Вы, хлопцы, приметили, какой там дух?.. Как в мясном ряду… кровяной. Аж в нос разит. А за чертом это все? Люди ведь…

— Надо воевать до победы, — заикнулся кто-то из нас.

— Дурак ты, вот что… — накинулся на него Степка. — Слышал звон… А что нам всем будет от этой победы?.. Идите вы к черту с вашим святым Егорием… Играйте в солдатики, кавалеры георгиевские… Бойскауты. На черта вы сдались, если за войну. Поняли? Вычеркивай меня к лешему. Побаловались.

Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали. Потом Биндюг крякнул, нерешительно вынул папиросы и подошел к Атлантиде.

— Дай прикурить, Степа, — проговорил он, — кончили лавочку. Айда!

Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены.

Ничего смешного тут не было. Но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как Монохордов, как дурак на похоронах.

Атлантида

…Шел раз урок географии в первом классе. Встал с «Камчатки» второгодник Гавря, поднял руку и спросил:

— Правда это в книгах прописано, что Атлантида взаправду есть?

— Возможно, — улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов. — А что?

— А я ее, Никита Палыч, эту самую Атлантиду, найду. Ей-бо! Пошукаю трошки в океане, та и найду. Я ныряю дюже глубоко.

Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантидой. Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду, этот отчаянный голубятник, лихой «сизяк». Забравшись на сеновал, чихая в душистой пыли, он рисовал перед товарищами планы:

— Воду выкачаю оттеда, дверцы поисправлю, жизнь там такую налажу — во! Малина! Ни директоров, ни латыни.

Трудно приходилось ему в каменном закуте гимназии. У него была голова горячая, как кавун

на июльской бахче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторе в выселках двором была вся степь — конца-краю не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламутила гимназическую чинную тишину его зычная глотка.

— Гавря, — вызывал его преподаватель.

— Га?!? — гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор.

Неугомонный, бежал он «на войну», но был возвращен с первой станции. Снова бежал — и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать.

Вверх ногами

У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это «вверх ногами». Рассказывали, что он сначала даже читал книги «вверх ногами». Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал тогда для науки, ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась с Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их

уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил. Так он научился читать. И читал он справа налево, держа книгу перевернутой. Насилу переучили его.

После посещения баржи георгиевских инвалидов Степка стал очень серьезным. Он где-то пропадал все время, таскал какие-то книжки. Часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом… Сюда же заходил пленный австриец-чех Кардач. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно:

— Вот оказия! Опять, выходит, прежде это дело вверх тормашками плановал. Фу-ты ну-ты! А насчет Атлантиды — это я полный болван. Жизню и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия.

Канун

На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избили городского голову. Ночью тревожно выли собаки. Слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников.

С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром. Ветер кидал на бе-

рег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний: «Граждане!.. Учредительное собрание...» В четыре часа за Волгой, в Саратове, уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер. Попробовали задребезжать окна.

...Баммм...

Еще раз, сдвоенно:

Ба-бм... бамммм!..

Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались и, задирая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных зачернели на крышах, как это бывает обычно, если далеко пожар. Снизу кричали:

— Эй вы там... Як? Бачите?

— Бачим, — солидно отвечали с крыши, — як на картине. Ось бабахнуло.

— Кто кого?

— Та не разберешь. Кажись, юнкера.

С крыши гимназии было видно: над Саратовом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты, мягко глуша, ложился на крышу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встало багровое зарево. В эту ночь в Покровске не зажи-

гали огней. Ночь была лиловой и воспаленной.

Урок истории

В девять утра, как всегда, побежали по площади длиннополые фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатываясь, пеналы.

Тусклое утро село в классы. Заскрипела под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил:

— В классе нет Гаври Степана…

Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.

— И вот император Юстиниан Великий и… ыыэх-хе-хе… Федора… (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора…

Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:

— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России.

— Господа, — возмутился педагог, — во-первых, я вам не газета, это раз. А потом, вы слишком молоды, чтоб разбираться в политике. Да-с. Итак,

Юсти…

— Ты-то больно стар! — пробурчали сзади. — Замашки прежние!

— Что-о? Встаньте и стойте.

— Не вставай, Колька! — заволновался класс, — Подумаешь, Юстиниан Великий!

— Вон из класса!

Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Тонкими дискантами запели вразнобой лесопилки на Щуровой горе. Засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем. А на Волге отчаянно и залихватски закричал пароходик.

Утро пело.

В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал.

День, не записанный в кондуите

Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу.

К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у «Тамары» росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе.

К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с — красной повязкой на рукаве. Рядом с ним с винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял Атлантида. Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки.

— Елки-палки, Степка! — закричали гимназисты. — Атлантида! Вот ты где!

Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой:

— Как же ты на занятиях не был?.. Попадет тебе.

— Пападе-от? — засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причаливающего парохода. — Нет, шалишь! Гроб ему, кондуиту-то, теперь полный. Крышка!.. Будя!..

Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор. На палу-

бе выстраивались люди с красными повязками.

— Наши, — с гордостью указал на них Атлантида.

— Большевики, — зашептали в толпе.

— Готово! — сказал капитан.

Конец кондуита

Весной, в конце последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобретал совсем особый смысл, и мы все чувствовали это.

На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгорающих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отученных дней мы скакали в диком индейском танце.

— Ура! — декламировали мы хором в триста глоток. — Урра! Мы! жжем! последние! дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка «безобедам», смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрежки. Горят дневники режима!

Биндюг и Степка пробрались в пустую учительскую.

Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала

хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глазмуляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Биндюг ногой проломил филенку. Пол брызнул белыми осколками Венеры. Кондуит был извлечен.

— В огонь кондуит! — завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках. — Поджарим, ребята, Цап-Царапову брехню!

Но всем захотелось потрогать «Голубиную книгу», прочесть в ней о себе, раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же кондуит был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить «для истории». Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех кондуитных записей.

Горели старые кондуиты. Корежились в огне их прочные переплеты… На крыльцо вышел старшеклассник Форсунов, член городского Совета депутатов.

— Товарищи, — обратился он к гимназистам, — минутку тишины. Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников: Ромашова, Тараканиуса, Ухова и Монохордова. Нам дадут

новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому. Кондуит кончился.

С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную «Голубиную книгу», вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра триста парней в маренго. Мы справляли неслыханную тризну по кондуиту. Черные хрупкие страницы шевелились в золе.

Блуждающие острова
Крапива и поганки

Лето 1918 года мы провели в Каршандарской ривьере, на севере Швамбрании, и в деревне Квасниковке, в двенадцати километрах на юг от Покровска.

После свержения Бренабора и Уродонала швамбранская молодежь раскололась на несколько партий. Правительство Швамбрании отвело под междоусобия специальную местность. Три огромных лагеря молодежи поделили ее между собой — три враждующих республики: Скаутингия, Милитария и Атлетика. Войска Скаутингии и Милитарии осадили нас, правителей Атлетики, в Квасниковке, милитары выпустили на нас несметные полчища крапивы. В серых и темных местах залегла разведка Скаутингии — патрули грибов-поганок. Мы их узнали по скаутским шляпкам.

Все лето прошло в боях. Мы кровожадно колошматили крапиву и вытаптывали целые поселения поганок. При этом, конечно, пострадало много невинных сыроежек и безобидных

одуванчиков. Лето было дождливое, и зелень одолевала нас. Но наконец нам удалось захватить в плен самого Мухомора-Поган-Пашу. Это был чудовищный гриб! Ножка его была величиной с кеглю, а красно-бурая шляпка, нашпигованная белыми бугорками, выглядела словно щедрый ломоть какой-то огромной колбасы. Несомненно, эта был грибной вождь.

С великими почестями несли мы домой Мухомора-Пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из оврага поднялись на дорогу двое мужчин. Они пошли нам навстречу:

— Вот так зонтик! Черт те возьми! — сказал один. Он был лопоух, и уши двигались, когда он говорил. На нем был зеленый френч в лохмотьях и обмотки. Колкие волосики торчали на небритом подбородке. И весь он похож был на крапиву. Я даже ощутил внутри какой-то зуд, когда он посмотрел на нас.

— У меня внутри зачесалось, — сознался потом и Оська.

В это время подошел другой, скаля гнилые зубы. Это был бледный, тщедушный человек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. Трухлявую поганку напоминал он.

— Не дадите ли нам отведать сего лакомого

яства, о юноши? — сказал человек-поганка.

— Не скупердяйничай, братишка, — сказал крапивный человек, — нам шамать требуется. А теперь все общее, даже, между прочим, грибы. Правильно, братишки?

— А откуда вы знаете, что мы братишки? — удивился Оська.

— Мне все насквозь известно, — отвечал крапивный человек.

— Теперь все братья, — добавил человек-поганка и торжественно продолжал: — Молодые люди! Судя по мечам вашим, вы, я вижу, доблестные рыцари. О братья-разбойники, поддержите в тяжелую годину своих страждущих собратьев! Иначе я в муках голода съем ваш гриб из семейства ядовитых и скончаюсь на ваших глазах в ужасных конвульсиях.

— Очень просто! Я лично даже без конфузий, — сказал крапивный человек, — нам помереть ничего не стоит.

Он откусил кусочек мухомора и тотчас же скончался… Человек-поганка хотел рвать на себе волосы, однако у него это не вышло, ибо он был лыс. Мы были подавлены. Но в наступившей тишине мы вдруг услышали, что внутри мертвеца что-то громко, часто и мелко тукает.

— У него еще сердце ходит, — робко объявил Оська.

— Это дух в мене входит и выходит, братишки, — горестно сказал мертвец. — Погибаю я, бедный мальчик, через революцию с голоду… И за что я кровь свою лил?.. Зовите, братишки, вашу мамочку… Пусть спасет меня, сироту. Скажите ей — погибает человек и меняет часы на сало.

Человек крапива принялся вынимать из карманов галифе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры… Мы зачарованно взирали на это богатство. Окрестности Квасниковки заполнились тиканием…

Комиссар проверил время

Через полчаса вызванные нами дачники и квасниковские бабы окружили приятелей. Крапивный человек вытаскивал из сумки и уже заводил часы-ходики и часы с кукушкой, а человек-поганка с ловкостью факира тянул из живота шелковую материю. При этом он худел у всех на глазах. Затем он стал вынимать из вещевого мешка два чернильных прибора, ночные туфля, маленький аквариум (правда, без рыб), икону, щипцы для завивки, несколько граммофонных

пластинок, собачий ошейник, крахмальную манишку, эмалированное судно и мышеловку. А шляпа его оказалась матерчатым абажуром для лампы.

— А машины швейной не будет? — спросила какая-то баба.

— Была, — ответил человек-поганка, — да под Тамбовом сменял.

Товарообмен шел бойко, а тем временем крапивный человек ораторствовал, как на митинге.

— Вот, дорогие дамочки, уважаемые бабочки и прочие, — заливался крапивный человек, — до чего нас довели эти товарищи большевики… А мы за них свою рабочую кровь и всю сукровицу до последней капли отдали, дорогие дамочки, уважаемые бабочки… Оба мы рабочие из города Питера, Путиловского завода…

— Комиссар прёт! — закричал какой-то мальчишка.

И ловкие приятели быстро упрятали все в мешки.

— Покажь документ, — сказал приезжий комиссар Чубарьков, — будя агитировать!

— Свой, а трепишься, — спокойно отвечал крапивный человек.

— Я те покажу «свой»! — грозно сказал Чу-

барьков и опустил руку в карман. — Предъявь документ, спекулянт чертов! Мешочник…

Человек-поганка, трясясь, вынул бумажку. На ней значилось: «Предъявитель сего помощник бухгалтера… и научный работник».

У крапивного человека документа совсем не оказалось, и он сам огорчился.

— А ну, — сказал товарищ Чубарьков, — складывай барахло и сыпь отсюда без оглядки, пока я вас не забрал… и точка. Наплодилось вас тут, словно поганок!..

— У нас ничего нет! — сказал человек-поганка. — Мы просто советские пешеходы. Без всякой частной собственности. Можете обыскать.

— Некогда мне валандаться с вами! — сказал комиссар. — Скажи спасибо, ехать мне надо в Анисовку, поди, уже три часа.

«Ку-ку… Ку-ку… Ку-ку…» — пропела кукушка в сумке у крапивного человека.

Покорение Брешки

Покровск очень изменился в наше отсутствие. Базара не было. Знакомые буржуи подметали площадь. Среди них был арестованный директор костемолки. И мы зачеркнули в реестре неспра-

ведливости пункт второй.

На том месте, где Земля закругляется, выстроили трибуну, а из окна большого дома на Брешке, где обычно раньше тявкал на гуляющих упитанный фокстерьер, глядел теперь, расставив лапы, пулемет. Над окном свисал красный флаг с двумя буквами: Че и Ка.

В городе мы еще раз встретились с крапивным человеком. Он командовал погромом.

Погром начали фронтовики и одна рота стоявшего в городе полка. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача Пустодумова. Толпа с утра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зиг-заг»…

Через час Брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На Брешке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по Брешке. В апельсинах рылись свиньи. Большая, обвислая хавронья купалась в

болоте из мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским.

Примчался на тарантасе, соскочив на ходу, Чубарьков.

— Именем революционного порядка, пожалуйста, прошу, — сказал комиссар.

— А раньше-то? — отвечали ему гимназисты. Комиссар Чубарьков уговаривал, просил, требовал и предупреждал.

— Все общее! — кричала пьяная орава за крапивным человеком. — Кровь, сукровицу лили…

И тогда в окне большого дома закляцал, забился пулемет… Он ударил над Брешкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов, и трусливую Брешку вымело.

Мы вспомнили с Оськой, как, играя на подоконнике в Швамбранию, мы расстреливали своим воображением Брешку. Но тогда Брешка была неуязвима.

Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине.

Чубарьков подошел к трупу. Он взглянул и, узнав, покачал головой.

— Ку-ку, — сказал комиссар.

Единственная тайна Швамбрании

Степка Атлантида прислал мне еще в Квасниковку записку. «Здорово, Леха! — было написано в ней. — Первого приходи в гимназию. Будет открыта Един. Т. Ш. Ох, и лафа будет! С. Гавря», Я долго расшифровывал это «Един. Т. Ш.», и вдруг меня осенило. Един. Т. Ш.! Ясно: Единственная Тайна Швамбрании — вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку… Степке теперь было известно про Швамбранию, и он собирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. Грубая действительность бесцеремонно вторгалась в наш уютный мир.

Но дома мы нашли печати на дверцах грота нетронутыми. Внутри, в сумраке и паутине, отбывала срок королева — хранительница тайны. Откуда же Степка узнал о Швамбрании? Я решил поговорить с ним начистоту. Степка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что Швамбрания и Атлантида могли бы стать союзными государствами.

Степка встретил меня с ликованием. За лето он

вырос и поважнел.

— Ходишь? — спросил Степка.

— Хожу, — отвечал я.

— Существуешь? — спросил Степка.

— Существую, — отвечал я и нерешительно спросил: — А откуда ты про… Е. Т. Ш. узнал?

— Подумаешь, откуда! — хмыкнул Степка. — Все ребята уже знают…

— Раззвонил! — с тоской сказал я. — Эх, ты, а еще друг, товарищ… Мне ведь Швамбрания лучше жизни нужна.

И, оправдываясь, я рассказал Степке всю правду о стране вулканического происхождения. Я звал атлантов стать союзниками швамбран.

Степка слушал с интересом. Потом вздохнул и погасил разгоревшиеся было глаза.

— Я про Атлантиду больше не мечтаю, — сказал Степка твердо. — На что она мне нужна теперь, Атлантида! Мне нынче и без нее некогда! Революция. Это при царском режиме всякие тайны были… А теперь и без секретов — лафа. А Швамбранию — вы это толково выдумали, — признал Степка. — Только Е. Т. Ш. — это из другой губернии вовсе. Это вместо гимназии будет Е. Т. Ш. — единая трудовая школа, значит!

За ушко да на солнышко

На лавочке у отдела народного образования сидели учителя. Инспектор, историк, рыжий математик Монохордов, латинист Тараканиус. Зябкое августовское солнышко не грело педагогов. Их выгнали.

— А-а, здравствуйте, добрый день, моё почтенье, как живём, — наперебой здоровались со мной педагоги, вежливо протягивая руки.

— Здравствуйте, — сухо и чинно отвечал я, — что скажете?

Инспектор отозвал меня в сторону.

— …Я разве виноват, что царь и Керенский дураки? Они виноваты, а не я. А при советской власти и я хороший буду. Мне не жалко. Я ведь сочувствующий…

Я подошёл к Стёпке.

— Стёпка, — сказал я, — может быть, инспектора оставить? Он иногда хороший был.

— Эх, ты, сопля задушевная! — сказал Стёпка. — Интеллигент! Хороших да плохих не бывает. Наши бывают, чужие бывают. Красные бывают, белые бывают. Пролетариат — бывает, буржуазия — бывает. А ещё дураки бывают. Это вроде тебя.

Я обиделся…

Точка, и ша!

Первого числа над гимназией взвился красный флаг. Мы собрались на дворе. Бодрый август сиял и звенел. Заведующий, Никита Павлович Камышов, вышел на крыльцо.

— Здравствуйте, голуби! — сказал Никита Павлович. — С обновкой вас. Вы теперь уже не гимназисты сизые, а ученики советской единой трудовой школы. Поздравляю вас.

— Спасибо! — ответили мы. — И вас также!

— А так как, — сказал Никита Павлович, — меня Совет назначил комиссаром народного здравоохранения, то с вами сейчас будет говорить новый, временный заведующий, он же военный комиссар, товарищ Чубарьков. Прошу любить и жаловать.

Чубарькова встретили без аплодисментов. Чубарьков сказал:

— Товарищи! Вы образованные, а я был, между прочим, темным грузчиком. Вас книжка учила, а меня — несчастная жизнь. И вот я хочу прояснить о школе, о том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом — почему школа, това-

рищи? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для образования. Точка. Отчего трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. Точка. А единая оттого, что не будет теперь всяких гимназий и прогимназий да институтов благородных дамочек. Все ребята равные теперь и по-одинаковому будут науку превосходить. А чтоб с этого была польза революции, именем революционного порядка прошу не шалберничать: точка, и ша!

— А раньше-то? — закричали старшеклассники. — Долой комиссара! Давай Никиту Павловича!

— Именем революционного порядка, — сказал Чубарьков, — пожалуйста, прошу не трепаться. Точка. Никита Павлович назначен Советом на должность. И точка. Это раньше здравия желали только их благородию, а теперь всему народу здравие. Должность серьезная. Точкаи ша!

В школьный совет назначили товарища Чубарькова, сторожа Мокеича, Степку Атлантиду, члена городского совдепа Форсунова, учителя Карлыча и еще двух старшеклассников. Гимназисты свистели. Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента

мы будем теперь учиться вместе с девчонками. Точка, и ша!

Деликатная миссия

При слиянии мужской и женской гимназий классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на «А» и «Б». Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня, помощником — Степку. Полчаса мы оправлялись перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Биндюг. Груди выпирали колесом. Но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне.

— Плювай пожидче, — сказал он, — только, чур, не харкать.

Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры.

— Ох, вид у вас фартовый! — сказал Биндюг,

заботливо оглядывая нас. — Фасон шик-маре!.. Они в вас там повлюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выбирайте.

Захватив с собой в качестве почетного эскорта (караула) еще пятерых, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. Из-за дверей классов ползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонения и спряжения… В углу громоздились друг на друге старые парты, а рядом стояло новенькое пианино, конфискованное у какого-то буржуя.

— Захватим музыку, — предложил Степка.

В четвертом классе шёл урок русского языка. Пухлая гимназистка с выражением читала:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

— Это мы, — раздался голос из коридора. Двери класса распахнулись настежь, и в класс, победоносно грохоча, въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы.

Впереди, как танки, ползли гуськом две парты. В отверстия для чернильниц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой, а за нами в класс величественно въехало пианино.

Пять человек катили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали по-поросячьи. На пюпитре стоял список учеников нашего класса «А». На подсвечниках висели наши фуражки, а левая педаль была обута в лапоть, подобранный во дворе…

— Вот и приехали! — сказал Степка.

Девочки растерянно молчали.

— Что это такое?! — истерически взвизгнула учительница.

Она так закричала, что в гулком пианино заныла и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна.

— Это мирная депутация, — сказал я и сыграл на пианино вальс «На сопках Маньчжурии».

Учительница хлопнула дверью. Девочки немного успокоились.

— Уважаемые равноправные девочки! — начал я. — Равноправные девочки! — повторил я и затем еще более горячо: — Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать…

Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как «Кавказ и Меркурий», как Шапошников и

Вальцев, как Глезер и Петцольд, как Римский и Корсаков…

— А как сидеть? — спросила высокая и строгая девочка. — Мальчишки отдельно или на одной парте с девочками? Если на одной, я не согласна.

— Мальчишки будут за косы дергать, — сказала басом толстая гимназистка, — или целоваться начнут.

Наша депутация изобразила бурное возмущение. Я с негодованием сыграл «Бурю на Волге», а Степка даже плюнул и сказал:

— Тьфу! Целоваться… Лучше уж жабу в рот.

— А в «гляделки» можно играть? — спросили хором самые маленькие ученицы с огромными бантами на макушках.

— «Гляделки»? — задумался я. — Как по-твоему, Степка?

— «Гляделки», я думаю, можно, — снисходительно сказал Степка.

Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и церемония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц.

Девочки спешно прихорашивались.

Первой я записал Таю Опилову, обладательницу толстой золотой косы.

— Я сегодня не в лице, — сказала в нос Тая Опилова, — у бедя дасборг (у меня насморк)…

Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили: около фамилий строгой девочки — Бамбука, около двух маленьких — Шпингалеты, рядом с толстой — Мадам Халупа. Затем были еще Соня-Персоня, Фря, Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Нимурмура, Шлипса и Клякса.

А девочки, которых мы не выбрали, тоже называли нас дураками.

— Ну, — сказал Степка, когда мы вышли, — теперь в классе придется без лайки, пока не привыкнут.

Во дворе встретилась депутация нашего класса «Б». Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение.

«Собачья полька»

В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом «разруха».

— Свистит разруха сквозь оба уха, — говорит наш сторож Мокеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе.

А в школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе «собачья полька»: одним пальцем — до! ре! ре!.. до! ре! ре!.. си! ре! ре! Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки.

Класс обращается в танцульку. Ученики открыто уходят с уроков.

«Карапетик бедный, отчего ты бледный?.. Оттого я бледный, потому что бедный…» Учитель после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок.

— Вы же хорошо учились, — с отчаянием говорит добрый математик Карлыч, поймав меня за рукав. — Идемте, я вам объясню интересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо обалдеете, до чего интересно. Чистая беллетристика!

Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. До, ре, ре!.. До, ре, ре! — слышится из соседнего. Карлыч садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин-чином, только учеников нет. Класс — это я.

— Пожалуйте к доске, — вызывает меня математик.

Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра. Ого! Завтра трудный день! Пять уроков. Первый урок — пение, второй — рисование, третий — чай, четвертый — ручной труд, пятый — вольные движения.

— Ну-с, начнем, — обращается Александр Карлыч к пустому классу. — Дан угол альфа…

До! ре! ре!.. До! ре! ре!.. Си! ре! ре!..

«Внучки» бесформенные

Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба.

Однажды товарищ Чубарьков привел в класс семерых новичков. Одеты они были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковы. На пряжках были буквы «В. Н. У.».

Комиссар сказал классу:

— Прошу потише. Затем здравствуйте. Точка. Следующий вопрос. Ввиду того что теперь школа

единая, все должны учиться заодно — сообща. Точка. Будьте знакомы. Это вот из Высшего начального училища. Подружайтесь. Точка и ша.

— Долой внучков! — закричали сзади. — Не будем учиться с внучками! Мы средние, а они начальные! Чубарьков обернулся в дверях.

— Кто вместе со всеми не желает, — сказал он, — тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно! И ша! — сказал комиссар и ушел.

«Внучки» остались робеть у кафедры.

— Здравствуйте, буржуазия, — сказал смуглый «внучок» Костя Руденко, по прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. — Здравствуйте, ребята и девочки, — вежливо сказал Костя Жук.

— А по по не по? — серьезно спросил Биндюг.

(— А по портрету не получишь? — перевели наши сзади.)

— А ра-то вы ме би? — спокойно сказал Костя Жук.

(— А раньше-то вы меня били? — растолковали нам «внучки».)

В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение.

— Эх ты, внучок бесформенный! — сказал Биндюг, грозно подойдя к Косте Руденко. — Тоже туда же… Из начального в гимназию вперся! Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы… А тоже лезут…

— Вы — среднее учебное заведение, а мы — высшее, хоть и начальное, — хитрил Костя Жук. — Мы больше вашего учили… Вот скажи, где бывает полусумма оснований?

Биндюг сроду не встречал «полусуммы оснований».

— Чихал я на твои полусуммы оснований! — свирепел он. — Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать…

Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках, Я знал, «где бывает полусумма», и поднял руку, чтобы спасти честь класса.

Степка Атлантида крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз.

— Без тебя обойдутся, — тихо сказал Степка. — Так ему и надо, Биндюгу! Молодчага этот внучок. Уел наших… Присаживайся, ребята, на свободные вакансии, — громко сказал он «внучкам».

«Внучки» несмело рассаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук

подсел к Шпингалеткам (так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц).

— Неподходящее знакомство! — сказали хором обе Шпингалетки.

Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись.

Матч в «гляделки»

Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были «гляделки». В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение. У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионши. Был организован даже турнир; чемпионат «гляделок». Весело и незаметно проходили уроки.

Матч на звание «зрителя-победителя» всего класса длился подряд два урока и часть большой перемены. Состязались Лиза-Скандализа и Володька Лабанда. Два с половиной часа они не сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Но, когда он

попробовал начать говорить о чем-то, на него замахали руками, и он услышал угрожающее «тс-с-с...». Робким шопотом физик объяснил устройство ватерпаса. Потом он на цыпочках ушел.

К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела исподлобья, неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли «всеобщее визжание, или детский крик на лужайке». А мы удрученно заткнули уши.

Но Лиза-Скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть исподлобья в одну точку. Обе Шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачены под лоб. Лиза давно была в обмороке.

Учиться было некогда

Класс старался все-таки при девочках держаться пристойно. С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтоб высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли учтивые записочки, секретки, конвертики: «Добрый день, Валя. Позвольте проводить вас до вашего угла

по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю, а с вашей стороны свинство. Коля. Извините за перечерки».

Каждый вечер устраивались «танцы до утра». На этих вечеринках мы строго следили, чтоб с нашими девочками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые и темные классы. После краткого, но пристрастного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали мести, и вскоре эти ночные побоища в пустых классах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от «самоохраны». Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли.

Биндюг, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке небольшой винный погреб. Он приладил к бутылкам резиновую трубку и провел к себе в парту. Во время урока урока под парту приползали жаждущие и прикладывались. Не брезговала его угощением и Мадам Халупа. Это была толстенькая, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Одного из обидчиков она всенародно выпорола на кафедре. Меня же Мадам Халупа однажды так

грохнула головой о кафельный пол, что я лишь пять минут спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину.

Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали.

— Ну что? — говорили они. — Добились? Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж извините что такое, а не школа!

Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали «внучки» и кое-кто из приятелей.

Нас не слушали. Класс был занят гляделками и танцульками.

— Когда же учиться? — грустно спрашивали мы.

— Некогда нынче этим делом заниматься, — отвечал Биндюг, — не старый режим. Хватит!

— Дурак! — сказал Костя Жук. — Нынче нам только и учиться по-правдышному.

— Это вам, внучкам-большевичкам, образования не хватает, — сказал Биндюг, — а наш брат, старый гимназер, обойдется… Не учи ученого.

В Швамбрании в этот день тоже загорелся ученый спор между графом Уродоналом и Джеком, Спутником Моряков. Началась война.

Шишка на ровном месте

На большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали.

Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и два куска рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там встречал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой.

— Большие новости! — говорил он и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании.

Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и ноздреватыми кубиками. Мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих пиров. Лишь в воскресенье мы съедали по куску на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное

слюнотечение.

Но однажды сахар вызвал кровопролитие.

Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались.

— Ишь ты, — говорили мне, — комиссар продовольствия… Шишка на ровном месте.

А Биндюг, парень наглый и предприимчивый, предложил раз мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Биндюг предлагал не возвращать в канцелярию этот остающийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии, я не только бы не сомневался — я бы счел долгом надуть начальство. Но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне, допустили к сахару, и я не мог их обманывать, даже во имя Швамбрании.

Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день Биндюг отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтоб поднять их. В это время Биндюг резко рванул меня за шиворот вниз. Я

шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла зловещая шишка и протекла кровью. Два кусочка рафинада порозовели. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Опилова дала мне свой платок. Окрыленный и окровавленный, я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки.

— Товарищи, — сказал я в дым и шум, — вот, я пострадал через общественный сахар… и вообще, я на платформе… Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие.

Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали:

— Да тебя за сочувствие папа в угол накажет… да еще клистир пропишет, чтоб не сочувствовал… Он у тебя доктор.

Дым скрыл мое огорчение.

Тем не менее я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку, как орден.

Дыхание — 34

…И плакали о нем дети в школах.

«Шехерезада», 35-я ночь

В это утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в Отделе народного образования. На Брешке, у «потребиловки», где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середину газеты, и я видел лишь дряблую бумагу, бледный, словно защитного цвета, шрифт, заголовок «Известія» через «и с точкой» и слово «Совет», в котором еще заседала буква «ять».

«Бои продолжаются на всех фронтах»

прочел я сверху. Между головами людей я видел отрывки обычных телеграмм.

> «…на Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов. На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельске. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей… Борьба повстанцев на Украине продолжается.»

В самом низу, под чьим-то локтем, я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты:

> «Продовольственный отдел Московского совета Раб. и Красноармейских депутатов доводит до сведения населения г. Москвы, что завтра, 30 августа, хлеб по основным карточкам выдаваться не будет… По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону № 13 будет отпускаться 1/4 фунта хлеба…»

Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты, и я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австриец Кардач и с ним двое красногвардейцев. Кардач был бледен. Обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле.

— Читай, — сказал он.

И кто-то, добросовестно окая, прочел:

> ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
>
> Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина…
>
> Спокойствие и организация. Все долж-

ны

стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!

Председатель ВЦИК Я. Свердлов.

30 августа 1918 года, 10 часов 40 минут вечера

Кардач, ошеломленными, неверящими глазами смотрел в рот читавшему.

Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал:

— М-м-м…

— «Одна пуля, взойдя под левой лопаткой…» — сбиваясь, читал кто-то.

— Пульнули, — спокойно сказал Биндюг и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку.

Кардач кинулся на него. Он схватил Биндюга за плечи и стал трясти его.

— Я из тебя самого собачий нога закрутить буду! — кричал Кардач.

Красногвардейцы тоже двинулись на Биндюга. Он вырвался и ушел не оглядываясь.

Я побежал в школу.

Ленин ранен!.. Ленин! Самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен — гнуснейшая из

несправедливостей.

…Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, «внучки» и несколько наших ребят.

На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь карандашом в литографированных артериях, легких, кишках, пищеводе, аорте, мы решали: опасно или как?..

Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик.

— А вдруг если… помрет?.. — уныло спрашивал Костя.

И вырезал на парте: «Ле…Лени…Ленин».

Пришел сторож Мокеич, хранитель школьного имущества. Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за порчу народного достояния. Но потом вздохнул, помолчал немного и ушел.

По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшеклассники складывали, как дрова, винтовки.

На большой перемене в класс пришли члены совета: Форсунов и Степка Атлантида.

Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения.

— «Состояние здоровья товарища Ленина… —

прочел Форсунов и почему-то посмотрел на меня, — состояние здоровья… по вечерним бюллетеням значительно лучше. Температура 37, 6. Пульс — 88. Дыхание — 34».

— Лелька, — сказал мне Атлантида. — Лелька, у нас к тебе просьба. У тебя папан — врач. Позвони ему по телефону, как он насчет товарища Ленина думает… Как это говорится: диагноз или прогноз…

Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще теплую от предыдущего разговора. Почтительная толпа окружала меня.

— Больница? — сказал я. — Доктора, пожалуйста… Папа? Это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить… о товарище Ленине. У него дыхание — тридцать четыре. Как ты считаешь? Опасно?..

И папа ответил обыкновенным докторским голосом:

— С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя, — сказал папа, — случай серьезный. Но пока нет поводов опасаться летального, т. е. смертельного, исхода.

— Скажи ему спасибо от нас, — шепнул мне Степка. В этот день на уроке пения мы разучивали новую песню. Называлась она красиво и

трудно: «Интернационал».

Дома Оська сказал мне, как обычно:

— Большие новости…

— Без тебя знаю, — поспешил оборвать его я, — всем уже известно. Папа сказал: может поправиться.

— Да я вовсе про Швамбранию, — сказал Оська.

— А я про Ленина… Швамбрания на сегодня отменяется.

Это был первый вечер без игры в Швамбранию.

Права и обязанности новичка

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Маяковский

Оську приняли в школу. Оська получил документы. Временно заведующий первой ступенью маляр и живописец Кочерыгин написал на них такую резолюцию: «Хотя сильный недобор года рождения, но принять за умственные способности. Уже может читать мелкими буквами».

Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську.

— Приняли! — сказала гордая мама. — Только жаль, что теперь форму отменили.

— У нас сколько много теперь сахару будет! — мечтательно сказал Оська. — И мне будут выдавать.

Я же прочел Оське краткую лекцию на тему: «Новичок, его права и обязанности, или как не быть битым».

Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове.

— Зачем картуз такой напялил? — спросил Оську временно заведующий, заглядывая ему под фуражку.

— Для формы, — ответил Оська.

— Больно уж ты клоп, — покачал головой временно заведующий. — Куда тебе, такому мальку, учиться?

— А вы сами Федора великая, а дурак… — сказал Оська, от обиды перепутав адрес моих наставлений.

— Так нельзя ругаться, — сказал Кочерыгин. — А еще докторов сын! Вот так благородное воспитание!

— Ой, простите, это я спутал нечаянно! — извинился Оська. — Я вовсе хотел сказать — маленький-удаленький.

— А правда можешь про себя мелкими буквами читать? — спросил с уважением заведующий.

— Могу, — сказал Оська, — а большие буквы даже через всю улицу могу и вслух, если на вывеске, и наизусть знаю…

— На вывеске! — умилился бывший живописец. — Ах ты, малек! Наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Хорольского и Брешки?

Оська на минуту задумался; потом он залпом откатал:

— «Магазин «Арарат», фрукты, вина, мастер печных работ П. Батраев и трубная чистка, здесь вставать за нуждою строго воспрещается».

— Моя работа, — скромно сказал временно заведующий. — Я писал.

— Разборчивый почерк, — сказал вежливый Оська.

— А как теперь на бирже написано? — спросил временно заведующий.

— Биржа зачеркнуто, не считается. «Дом свободы», — ответил без запинки Оська.

— Правильно, — сказал временно заведующий. — Иди, малек, можешь учиться.

— Новенький, новенький! — закричал класс, увидев Оську.

— Чур, на стареньком! — поспешно сказал Ось-

ка, помня мои наставления.

Класс удивился. Оську не били.

Учитель в маске

Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин — Стальная Маска, бывший грузчик. В саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, и арбитр Бенедетто называл его при публике «борец-инкогнито — Стальная Маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена «решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва, до результата» схватка Стальной Маски и Маски Смерти. Все это было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели условленные заранее сорок минут, и потом Стальная Маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк стих, арбитр объявил, осторожно ломая руки:

— Увы!.. Маска Смерти победила в сорок пять минут, правильно… Под Стальной Маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин.

На другой день в школе Синягин весь урок

оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек восемь взобрались на Синягина. Они лазили по нему, как мартышки по баобабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела Мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю.

— Вот, — сказал он, — а вы говорите…

И урок кончился.

«Мир — это чемпионат»

Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. «Гляделки» были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в «решительных и бессрочных», тузила, швыряла «су плесами» и «тур-де-ганшами» по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Биндюга ни разу не касались пола. Биндюг был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей.

Все это, конечно, не могло не отразиться на

государственном порядке Швамбрании. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были «подходящие и неподходящие знакомства». Затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие. После памятного разговора со Степкой Атлантидой стало ясно, что мерка «хороший» и «плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом Швамбрании стал некто Пафнутий Синекдоха, геройством своим затмивший даже Джека, Спутника Моряков, и уложивший на обе лопатки графа Уродонала Шателена.

Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самый крохотный. Его все клали, даже «одной левой». Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками. Он разыгрывал на столе матчи между собственными руками. Руки долго мяли и тискали одна другую. И правая клала левую на все костяшки.

Самым серьезным и постоянным противником Оськи был валик-подушка с большого дивана. И

часто в детской разыгрывались такие сцены.

Оська, распростерши руки, лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею.

— Неправильно! — кричал Оська из-под подушки. — Он мне сделал двойной нельсон и подножку…

В реванше подушка оказывалась побежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль.

Затем Оська свел Кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым. Гришка Федоров был вторым силачом нашего класса.

Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили «ковер». Круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку. Я провозгласил:

— Сейчас будет, то есть состоится, борьба между двумя силачами: Анфисовым (первая ступень) и Федоровым (вторая ступень). Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волынки, решительная, до результата… Маэстро, туш!.. Оська, дудни еще раз! Запрещенные приемы известны. Жюри, значит — судьи, займите места у бочки.

Оська, Биндюг и дворник Филиппыч сели на

скамейку у бочки. Я объявил матч открытым.

Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький, коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они крадучись ходили один вокруг другого. Потом вдруг Анфисов крепко обхватил Федорова, зажав ему руки.

Зрители окостенели; даже ветер упал во дворе.

— Ослобони руки-то! — крикнул Филиппыч.

— Руки! — крикнули второступенцы.

— Правильно! — сказали первоступенцы. Я засвистел. Оська загудел. Жюри поссорилось. Анфисов под шумок уложил Федорова.

— Ура! — закричали первоступенцы. — Правильно!

— Ладонь еще проходит! — сказали наши. — Неправильно!

Но, как я ни старался, ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона. Клеймо позора прожгло нас насквозь. Федоров поднялся смущенный, отряхиваясь.

— Приляг еще разок, — насмешливо сказал Биндюг, — отдохни!

Будущее показалось нам сплошным кукишем.

Мальки ликовали. Тогда Биндюг ринулся на них. Он швырнул наземь их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем.

Да, это был герой и я простил Биндюгу шишку на лбу и ссоры с внучками.

Решительная, до результата

В это время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида.

— Извиняюсь, в порядке ведения вопрос, — сказал Степка, — что тут за драка на повестке дня?

Я рассказал Степке, что произошло. Биндюг развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам.

— Такие здоровые бугаи, — сказал Степка, — а в борьбу играются. Нашли забаву в такой текущий момент!

— Брешешь, Степка, большая польза для развития, — возразил Биндюг. — Вот, потрогай мускулы… Здорово? То-то и оно-то! Который силач, ему плевать на всех. Вы вот с Лелькой к внучкам почему подлипаете? Трусы потому что. Силенка слаба, так думаешь, своя компания заступится. Эх вы, фигуры! А мне ваша компания

не требуется. Я сам управлюсь. Во кулак!

— Здоров кулак, а головой дурак, — сказал Степка. — Ну скажи, чего ты сам собой, в одиночку, добиться можешь? А мы тебя компанией, или, научно сказать, обществом, если вместе решим, так в два счета… Вот наша сила!

— Конечно, если все на одного, — сказал Биндюг. — Только это уж не по-честному.

— А когда работали все на одного, это по-честному было? — спросил Степка. — Сколько у твоего батьки пузатого на хуторе народу батрачило?

— А ты, что ль, не хуторянин? — огрызнулся Биндюг и почернел от злобы.

— Ты не равняй, пожалуйста, — спокойно отвечал Степка. — У нас хуторишко был с гулькин нос, а у вас и сад, и палисад, и река, и берега — целая усадьба.

— Да ваши же товарищи там чертовы теперь коммуну развели, а нас выгнали…

— Выгнали… Не беспокойся, знаю… Хлеб в погребе схоронили. А я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх, и въехало же мне от матери! Я у Коськи Жука ночевал… А после он у меня… Мы все один за одного стоим.

— Значит, против старого товарища пойдешь? — тихо спросил Биндюг.

— Был ты мне товарищ, — еще тише сказал Степка.

Молчание, похожее на тень, прошло по двору. Потом Биндюг шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулясь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.

Э-мюэ и троглодиты

На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка Биндюга с Атлантидой. Биндюг угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины росли торчком бурые волосы, лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле.

— Что это за плешь? — мрачно спросил Биндюг. И класс загоготал.

— Э-мюэ… Эта? — спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину. — Это моя. А что?

— Ничего… Так, — сказал не ожидавший этого Биндюг.

— Может быть, теперь лысые… э-мюэ… запре-

щены? — приставал старичок.

Класс с уважением смотрел на него.

— Нет, пожалуйста, на здоровье, — сказал Биндюг, не зная, как отделаться.

— Ну спасибо, — прошамкал старичок. — Давайте познакомимся. Э… Э-мюэ… Я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков. Э-мюэ… Добрый день, троглодиты!

Слово было новым и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова:

— Вопросы имеются: из какого гардероба вы выскочили — раз. И чем вы нас обозвали — два. Это насчет троглодитов.

Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами.

— Сядьте, вы, фигура! — сказал Кириков. — Троглодиты — это… э-э-эм… э… допотопные пещерные жители, первобытные люди, наши, э-мюэ, пра-пра-пра-пра родители, предки… ну-с, э-мюэ, а Россия-матушка сейчас впадает в первобытное состояние. Из чего вытекает, что вы.

— Это, выходит, я — троглодитиха? — грозно спросила Мадам Халупа.

— Ну, что вы! — учтиво зашамкал Кириков. —

Вы уже целая мамонтша или бронтозавриха.

— Свой! — восторженно выдохнул класс.

Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покорен им к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что «штригель старикан — фартовый малый». Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали «Э-мюэ», что по-французски обозначало «е» немое. Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечными «Э-э-э-мюэ»…

Э-мюэ не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками.

Э-мюэ называл нас в одиночку фигурами.

— Фигура Алеференко! — говорил он, вызывая. — Воздвигнитесь!

Алеференко воздвигался над партой.

— Ну-с, фигура, — говорил Э-мюэ, — вспомним-ка, э-мюэ, пещерный житель… О чем мы беседовали прошлый раз?

— Мы беседовали о кирках и каменном веке, — отвечал троглодит Алеференко. — Очень скучное и доисторическое. Ни войны… ничего.

— Садитесь, фигура, — говорил Э-мюэ. — Сегодня будет еще скучнее.

И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшиеся пол-урока читал нам вслух журнал «Сатирикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения. И внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. На его уроках класс всегда был в сборе, приходили и старшеклассники. Ликующая лысина его постепенно окружалась ореолом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Э-мюэ разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов (гимназистов) и человекообразных («внучков»). Это окончательно полонило души старых гимназистов. Громогласные восторги первых дней перешли в тихое и прочное обожание.

Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом добродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Оно вставало в конце некоторых его шуток, видимое, но непроизносимое, как э-мюэ, как немое «е» во французском правописании.

Мамонты в Швамбрании

Однажды на уроке Э-мюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно! Но от него пахло спиртом.

— Троглодиты и человекообразные! — сказал он. — Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах… Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают… Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи… э-э-мюэ… История кончилась…

— Нет, нет! Не кончилась… звонка еще не было! — возразили из угла.

— Какая это там амеба из простейших так высказалась? — спросил Кириков. — Я же говорю не об уроке истории, а о… э-э-мюэ… об истории человечества… о прекрасной, воинственной, пышной истории… Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять… э-э-мюэ… к первобытному коммунизму, к исходному мраку… Хаос, разруха… Керосина нет… Мы утратим огонь… Мы оголимся… мануфактуры нет… Наступает звериное опрощение, уважаемые троглодиты…

Железные тропы поездов зарастут! Э-э-мюэ… догорит последняя спичка, и настанет первобытная ночь…

— Какая же ночь, когда электричество всюду проведут? — вскочил Степка Атлантида.

— Брось! Правильно! — сказал Биндюг. — У нас на хуторе коммуна все поразоряла.

— Долой про первобытное! Даешь про рыцарей! — закричали из угла.

Класс затопал. Троглодиты скакали через парты.

— Станем же на четвереньки, милые мои троглодиты, — веселился Э-мюэ, — и вознесем мохнатый вой извечной ночи, в которую мы впадем… Уы! У-у-у-ы-ы-ы!!!

— Уы-уы! — обрадовался новому развлечению класс.

Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохота. Кто-то запел:

Ды темной ночки
Ды я боюся,
Троглодитка
Моя Маруся!
Эх, Маруся

Троглодитка!
Брось трепаться,
Проводи-ка…

Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое «что-то». Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатления. Я уже чувствовал, как гнется почва Швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов.

— Ребята! Ребята! Хватит! — закричал опомнившийся Костя Жук. — Степка, скажи им, он им очки затер. Да Степка же!..

Но Степка исчез. «Неужели сбежал?» — испугался я. И мамонты, подняв хоботы, как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе Швамбрании.

В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в двадцатом веке. Мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла.

— За такое агитирование можно и в Чека, — ти-

хо сказал Форсунов.

— Буржуй плешивый, — сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова. — Саботажник!

— Э-мюэ, — сказал Кириков, — я просто излагал вкратце идеи, э-э-мюэ, анархизма. Голый человек на голой земле, никакой частной собственности.

— Поганка! — радостно закричал я неожиданно для самого себя. — Поганка! — уверенно повторил я.

В это мгновение я поймал в памяти крапивного человека, Квасниковку, часы, Мухомор-Поган-Пашу и частную собственность лысого мешочника. И «Э-мюэ» стало Э-аксан-граф, «э» немое стало «э» открытым.

Разоблачение состоялось. Кирикова убрали. Человекообразные приветствовали его изгнание. Но троглодиты во главе с Биндюгом не покорились. Они стали готовиться к расправе с «внучками». Троглодиты тайно назначили на завтра «вселенский хай».

— У нас завтра утром будет варфоломеевская ночь, — шепотом сообщил я ночью Оське.

Оська, и наяву всегда путавший слова, спросонок говорит:

— Готтентотов убивать? Да?

— Не готтентотов, а гугенотов, — отвечаю я, — и

не гугенотов, а внучков, и не убивать до смерти, а бить.

— Леля, — спрашивает вдруг сонный Оська, — а в Риме, в цирке, тоже троглодиторы представляли?

— Не троглодиторы, а гладиаторы, — говорю я. — Троглодиты — это…

Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по Швамбрании. Я рассказываю Оське, что они скрываются среди огромных доисторических папоротников.

— Папонты пасутся в маморотниках, — повторяет Оська во сне.

Вселенский хай

Вселенский хай изобретен уже давно. Это была высшая и чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплодными. При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь изустные гимназические легенды хранили память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с ди-

ректорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников; его расстреляли тухлыми яйцами.

Итак, троглодиты решили объявить Великий всеобщий вселенский хай. Командовал хаем Биндюг. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино «собачьей польки», никто не боролся, никто не состязался в «гляделки». После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги. Тишина довоенного качества встретила их в классе.

У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Не встали только человекообразные и Степка. Меня тоже поднял с места общий рывок, но я тотчас спохватился и сел. Потом нерешительно сели еще несколько ребят и девочек. Остальные стояли, чинно вытянувшись.

— Что вы?.. Садитесь, садитесь, — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.

Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно взошел на нее.

— Дежурный, молитву! — скомандовал Биндюг.

— Обалдел? — спросил Степка.

Класс угнетающе затих.

— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего… — зачастил дежурный Володька Лабанда.

Кое-кто по привычке крестился.

— Я лучше, может, уйду? — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.

Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.

— В классе отсутствуют… — читал Лабанда, — в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай… — И он прочел фамилии всех «внучков».

— Стой! Ты чего?! — вскочили «отсутствующие». — Какого черта! Мы здесь!

— Сейчас начнете отсутствовать, — нахально сказал Биндюг. — Троглодиты, считаю хай открытым! — И, засунув два пальца в рот, Биндюг

засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.

За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем! — было написано на доске. — Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!» Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы. Начался Всеобщий Великий Вселенский Хай.

«Бои продолжаются на всех фронтах»

Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание про-

исходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом глядел председателем и победителем Биндюг. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Ротмеллер, сын богатого колбасника. Ротмеллер только что кончил говорить, Форсунов смотрел в стол.

Вход в зал охранял патруль троглодитов. «Внучки», избитые, запачканные и почти уже не человекообразные, осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил Степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор.

— Даю слово комиссару Чубарькову, — провозгласил Биндюг.

— Точка, и ша! — хором крикнул зал.

— Что это за хай? — спросил комиссар.

— Вселенский! — дружно отвечали ему.

— Постойте же, ребята, — сказал комиссар.

— Мы не жеребята! — крикнул зал.

— Товарищи! — сказал комиссар.

— Мы тебе не товарищи! — издевался зал.

— Ну, тогда господа! — рассердился комиссар.

— Господ теперь нет! — закричал зал.

— Как же вас извольте-позвольте величать? — рассердился комиссар.

— Тро-гло-диты! — хором отвечал зал.

— Крокодилы — сказал комиссар. — Считаю, уже время кончить… И точка.

— А раньше-то?! — нагло и язвительно спросил зал.

— Что — раньше?! — закричал вдруг Чубарьков. — Что раньше?! Глупая эта присловка. Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка. Стал бы он с вами валандаться! Живо бы в кондуит или сыпь на все четыре…

— И точка! — крикнул зал, — И ша! И хватит! Даешь Семена Игнатьевича!

Троглодиты бушевали. Но волжскую глотку грузчика Чубарькова нелегко было переорать.

— Удивляюсь, удивляюсь я на вас! И точка! — говорил комиссар. — Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новое ученье дают. Про царей что интересного учить? Раньше вам одни враки про них плели. И точка. А в единой трудовой будут весь народ изучать. Откуда вышел, из чего получился и все развитие… А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую брехню вам порол. Какая же тьма, когда ученье — это свет? А сколько теперь народу учиться пойдет — соображаете? Я вот, скажем, — и Чубарьков застыдился, — я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер

учиться. И точка! Зачем же вы, товарищи… это, то есть крокодилы, не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что, у ихних батек пузо меньше?

Конь Калигулы

В этот момент в коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Мокеича: «Стой, куда те?..»

Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны, и в класс галопом влетел на комиссаровой лошади Степка Атлантида. За ним, сметая остатки патруля, в залу вторглись «внучки». Но злоба троглодитов уже спадала. Они хохотали, чуть не падая со скамеек.

— Тпррр! — сказал лукавый Степка. — Товарищ комиссар, она отвязалась, я ее еле уцапал.

Лошадь легонько заржала.

— Извиняюсь, — сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к лошади, — сейчас кончаю, и точка. Я думаю так, ребята: пошумели, и тихо. Проголосуем формально, и ша!

Биндюг неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пытливо

оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся Биндюг. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня.

— Объехали вас на кобыле, как маленьких, — сказал Биндюг.

Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел, серьезный, как всегда, Адольф Карлыч, математик.

— Друзья! — сказал Карлыч, теряя от волнения пенсне. Несколько минут затем он сослепу яростно хлопал ладонью по столу, будто ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал:

— Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен… Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будь сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь!.. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдерживает никакой критики и с чисто научной точки зрения. Революция в итоге ведет к прогрессу, она приобщает к науке огромные свежие пласты

людей… А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права! Как можно?! Это же преступление с научной точки зрения! Многие товарищи… внучки, как вы их называете, наделены, например, недюжинными математическими способностями… Скажем, Руденко. Прекрасно усваивает! А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно! В заключение я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что не поклонился этому надменному коню. Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чубарькова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоняю голову перед нашим четвероногим гостем.

И Карлыч поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушивших зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Биндюгу и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за ученье. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного

историка.

— Э-мюэ, — говорил Степка, — это по-французски все равно что наш твердый знак. Пишется, а не читается... Так, пришей кобыле хвост! (При этом Степка перегнулся в седле назад и для наглядности покрутил хвост комиссаровой лошади.) А твердый знак теперь отменяется. Вот. Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас рабочим иль ребятам ихним, чтоб они э-мюэ выкинули.

Письмо французским ребятам с просьбой отменить э-мюэ приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных.

— Ага!.. Видите, военной силой нас хотел усмирить! — закричал Биндюг. Зал окостенел.

— Спокойно, спокойно! — сказал один из вошедших. — Немножко сознательности! Товарищи! Близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу четвертой армии. Товарищ Чубарьков! Распорядитесь очистить завтра.

Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала.

У подъезда ей ответили кони 4-й армии.

Орда кочует

Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тротуарам, получая и сдавая пакеты через окна учреждений.

Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на Брешку. Хрипели погонщики: «Тратр!.. Тратр!.. Чок!.. Чок!..» Над Волгой мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед за тем рушился медлительный удар. На Волге упражнялись в метании ручных гранат.

Подняв хобот орудия, топтался на площади слонообразный броневик. За живыми верблюдами бежали вприпрыжку железные страусы: куцые одноколки с высокими трубами — походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наше любимое лото «Скачки в Камеруне»: там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы… А тут еще у цейхгаузов люди ворочали груду бочек с черными цифрами на

днищах. Толстый человек выкрикивал номера, другой смотрел в бумаги и ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник.

— Квартира? — спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото.

— Все заполнил! — отвечал квартирьер.

И проигравшие заползали спать под грузовики.

На школе уже висела доска со странной надписью: «Травточок». В переводе на русский язык это обозначало, говорят, что-то вроде: «транспорт авточасти особой колонны». Впрочем, точно значения загадочного слова «Травточок» так никто и не знал. Автомобилей у Травточока было всегда два-три. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать Травточок в Тратрчок. Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный «тратрчок» звучало, как «тпрруу» и «но».

Бездомная школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь «шутки»

— скажем, плюнуть с нее кому-нибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и о ней шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Володька Лабанда остановил на улице Карлыча.

— Адольф Карлыч, — сказал Лабанда, потупившись и, как конь, ковыряя ногой землю, — Адольф Карлыч, вот вы сказали про способность… у Коськи, у Руденко… А я ведь тоже раньше задачки здорово решал. Помните, Адольф Карлыч? Вы говорили, у меня тоже способность…

— Помню, Лабанда, — сказал учитель. — Отлично помню. У вас безусловно есть математическая жилка. Только лодырь вы.

— Что значит лодырь? — обиделся Лабанда. — Просто почудить охота была, раз теперь свобода. А только это с вашей стороны, я скажу, несправедливо: одних внучков хвалить. Они теперь вот зазнаются…

— Ага, зацепило! — сказал довольный Карлыч. — Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет: они у меня за квадратные уравнения взялись.

— Нагоним, — упрямо сказал Лабанда. — Усесться мне на этом месте, если не нагоним.

Алгебра на каланче

В тот же день в классе было решено, что «внучки» зазнались, что терпеть это дальше невозможно и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Карлыч, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Карлыч гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и нечаянно съедал все…

Биндюг издевался над нами.

— Тоже свобода, нечего сказать! — говорил он. — Были парни — гвоздь! А теперь зубрилы-мученики. Вы еще отметочки попросите ставить. Тьфу!

Особенно изводил он Степку. Но Степка обращал на это, как он говорил, нуль внимания и фунт

презрения и занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в ученье лезть прямо на баррикады.

За две с половиной недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Карлыча вызвать кого-нибудь из нас к доске, и он вызвал Лабанду. «Внучки» удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с двумя трубами. Все шло благополучно. Через одну трубу вода вливалась, через другую выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в шесть часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал иссякать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь.

— Вы рассуждайте, — сказал Александр Карлович.

— Я рассуждаю, — уныло отвечал Лабанда. — Если из четырех ведер вычесть две трубы…

— Рассуждайте сначала и вслух! — сказал Александр Карлович.

Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось

подсказать Лабанде. Но неловко было обнаруживать при «внучках» его бессилие. Но тут мы услышали: кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись и увидели, что подсказывает Костя Руденко-Жук… И тогда класс, прославившийся некогда искусной подсказкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги, — этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подсказку, и закричал:

— Оставь, Руденко! Не подсказывай! Пусть сам.

Лабанда уверовал в свои силы. Он понатужился немного, поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано: «X = 18 ведрам».

Успехи класса «Б»

Мы радовались недолго. Через два дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе «Б», о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме, в нашем классе «Б» проходят уже уравнения высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно.

— Вранье! — закричал класс.

— На! — сказал Степка и протянул Лабанде согнутый палец. — Разогни и не загибай.

— Усесться мне на этом месте! — сказал Лабанда крестясь.

Мы были сражены. Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс «Б», чтоб решить любую задачу. Но Степка слышать не хотел об этом. Он заявил, что это не фунт изюма, если один только может решить, что опять это получится первый ученик, а надо сделать, чтобы весь класс мог решить. Тогда снова кинулись к учебникам. Мы собирались в школе по вечерам. Костя Жук подтягивал и натаскивал нас. Биндюг не являлся на эти занятия. Он уверял, что «голодное брюхо к ученью глухо», сейчас учиться не время и он без нас любую задачу решит.

Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу «Б» помериться с нами в алгебре. Ребята из «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди других Степка Гавря, по прозванию Атлантида, Володька Лабанда, Костя Жук, Зоя

Бамбука и я. В последний день в нашу команду записался Биндюг. Мы приняли его с большой неохотой. Он божился, что не подкачает.

В собачьем ящике

Накануне состязания команда «А» собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Карлыч и больше часа гонял нас по теории. Затем он задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили и их. Александр Карлович был доволен «с чисто научной точки зрения». Потом он взглянул на часы и схватился за голову: было уже двенадцать часов, а по городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить лишь до одиннадцати.

— Ну, товарищи, — сказал Костя Жук, — значит ночуем в собачьем ящике. Факт!

— Пройдем, — успокаивал Лабанда. — Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все.

Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темной ночки да я боюся…» На углу нас остановил патруль.

— Мы в аптеку идем, — сказал Степка, — вот это докторов сын. Пропустите.

— Ну? В аптеку? — обрадовался красноармеец. — Не за касторкой ли?

— Вот именно что за касторкой, — ответил Степка. — Понимаете, такое дело…

— Сейчас тебе пропишут, — сказал красноармеец. — Лапанин! Забери этих и препроводи.

Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки.

Вскоре привели Карлыча. Он негодовал со всех точек зрения.

— Адольф Карлович! — приветствовал его неунывающий Степка. — Добрый вечер!

— Теперь уже покойной ночи, — сердито сказал Карлыч. — Спасибо за компанию.

Потом ввели какого-то мрачного мешочника.

— Кто тут последний? — спросил деловито мешочник.

— Я, — сказал Александр Карлович. — А что?

— Я утром за вами буду! Запомните, — строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел.

Качался махорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом. Полная нелепица. Шла бессонная ночь, ночь перед письменной…

Через два часа нас освободил по телефону Чу-

барьков. Уже в дверях Карлыч что-то вспомнил и вернулся. С огромным трудом он разбудил мешочника.

— Извините, — сказал Карлыч, — но я должен уйти… Так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим.

На Брешке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной.

— Что? — спросил их Степка. — За касторкой ходили?

— Нет, — отвечали те, — за йодом.

Не старый режим

— Участники, на место! — говорит торжественно главный судья Форсунов.

Невыспавшиеся алгебраисты рассаживаются за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником.

Наш Александр Карлович и математик класса «Б» волнуются. Они похожи на менажеров-секундантов, впервые выпустивших на ринг своих боксеров. Карлыч подходит к каждому и шепотом говорит:

— Главное — рассуждайте… И не спешите… Не путайте знаки при постановке. Если попадется с пропорциями, они безусловно сядут. Это их слабое место, я знаю… Но главное — рассуждайте.

Форсунов предлагает преподавателям занять места. Карлыч и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Мокеич и пустует стул, оставленный комиссару.

Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам «ни пуха ни пера». Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители, и обещают «быть тихо».

Мокеич вынимает большие кондукторские часы с буквами «Р.У.ж.д.». Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задачи. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию: двойной паек сахара. Кроме того, первый окончивший задачу награждается званием лучшего математика.

— Ребята! — говорит Форсунов. — Надеюсь на

вашу честность. Я при директоре сам первый сдирала был и предупреждаю: все равно при мне ни один черт не сдует. Ясно?

— Новое дело! — обижается Степка. — Своих, что ли, будем обманывать?

Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно! Не царский режим, чтобы списывать!

— Приготовились! — взывает Форсунов. — Внимание! Помещик продал десять четвертей ржи и несколько…

— Помещиков теперь нет… поразоряли! — говорит Биндюг.

— …и несколько четвертей овса, — продолжал Форсунов.

— Вот спекулянт! — опять перебивает Биндюг, которому очень хочется вернуть благосклонность класса.

— За семьдесят девять рублей пятьдесят копеек, — читает Форсунов.

— Продешевил! — заявляет Биндюг.

Все хохочут. Задача скомпроментирована. Неинтересная задача. Команды просят дать другую.

— Другую! — многозначительно говорит Форсунов. — Ладно! Сейчас вы у меня получите другую.

Задача с путешественниками

— Приготовились! Внимание! «Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал пятьсот двадцать пять верст. Расстояние между городами — сто семьдесят пять верст. Сколько верст в день проезжает каждый?»

Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылки и пригнула нас к парте. Идет письменная.

Но нет того знакомого удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто «кол» — единица.

Нет! Идет письменная. И не страшно. Карлыч ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним! Мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника А и Б. А и Б сидели на трубе… (Не то, не то!) А догоняет Б. Надо догнать класс

«Б».

Топоча и звеня шпорами, входит в класс Чубарьков. Карлыч негодующе шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно, на цыпочках, идет на свое место.

— Кто кого? — шепотом спрашивает он у Форсунова.

— Только начали! — еще тише говорит Форсунов.

Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходят беззвучно пятнадцать минут. У меня все идет гладко — никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листа. У Степки бумага чиста. Костя Жук, привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение… Он первый!

Но вдруг по проходу проносится Биндюг. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над головой готовую работу. Форсунов недоверчиво берет лист. Результат правилен.

— Точка? — спрашивает комиссар.

— Ша!.. — отвечает Биндюг, и коридор восторженно аплодирует.

Биндюг опять победитель.

После звонка судьи проверяют работы и объ-

являют результат состязания. Из команды «А» решили задачу правильно восемь человек. Из команды «Б» — лишь семь. Мы победили. Мы не только нагнали, мы обогнали. А наш Биндюг — чемпион алгебры. Его качают, хотя он очень тяжел. Биндюг, болтая ногами, летит к потолку. Что-то вываливается из его кармана. Бамбука наклоняется, подымает и кричит:

— А это что такое?

— Дура, — говорит Биндюг и хочет что-то вырвать у нее. — Дай, дура! Я же для вас старался. Ну, не хотите, черт с вами. Проигрывайте.

В руках у Бамбуки маленькая книжечка. На ней написано: «Ключ и подробные решения ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть 2-я».

— Своих!!?! — кричит Лабанда и бьет Биндюга в лицо.

Ответный удар швыряет Лабанду через парту.

Класс отворачивается.

Чубарьков и Мокеич с трудом сдерживают Биндюга. Форсунов объявляет, что класс «А» не перегнал, но догнал класс «Б». Славу и сахар делят пополам.

Красные безобедники

И вот школа ходит по городу. Мы переезжаем из дома в дом. Мы переселяемся иногда по нескольку раз в день. Переселением занимаются на большой перемене.

Школа блуждает. Бывает, что утром мы не застаем школу на вчерашнем месте, и мы ищем ее по городу.

Мы волочим по улицам парты и шкафы, глобусы, классные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалки впряжены зловещие дромадеры Тратрчока, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой. Тиф.

Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу: на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке…

— Ша! — раздается на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке. — Крепись, и точка! Чуток еще перемаемся! А там, хлопцы, запляшут лес

и горы… Как это говорится: неважная картина — коза дерет Мартына. А вот наоборот: Мартын козу дерет. Факт!

Однажды он является во временно осевшую школу к концу уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на серых губах. От него пахнет карболкой.

— Товарищи! — сипит комиссар. — Прошу вас принести небольшую пользу… Штаб меня на этот вопрос щупал, а я им: ша, говорю, моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру, как семечки, грызут. Всех неизвестных в известных определяют — и точка… Вот, значит, ребята… Кто хочет оказать пользу революции?

— Даешь! — кричат школьники.

— Смотря какую пользу, — говорит осторожный Биндюг и смотрит на часы.

Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на Брешке большие плакаты о сыпняке. Из Саратова еще не прислали, в штабе все вышли. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь.

Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску.

В классе отчаянно холодно. Школа не топлена.

На часах — пять. Давно пора по домам.

— Я бы и сам намалевал, — говорит Чубарьков, — да вот таланта у меня нет, и ша. А без таланта и вошь не накорябаешь. Вот у Зои, у Степана и у Лельки — у них получается. Видел я, видел раз, как они на доске карикатуру с меня рисовали. Чистое сходство! Точка в точку, и ша.

— Даешь картину с натуры! — озорничает Степка. — Кто на память не помнит, Биндюг своих одолжит. У него сытые.

— Гавря, это неаппетитные шутки, — останавливает его брезгливый Карлыч. — Принимайтесь-ка лучше за дело. Это полезнее.

— Ребята, — кричит Степка, — объявляю экстренный урок рисования особого назначения.

— Поздно уже, — раздаются голоса сзади, — и холодно тут.

— Домой бы! — недовольствует кто-то в углу (где сидит Биндюг). — А то как в гимназии «без обеда» в классе посаженные…

— Ах, так? — Я вскакиваю на парту. — Ребята, — кричу я, — кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы-безобедники — остаться рисовать на борьбу с тифом? А кто думает, что он в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катится! Ну?

Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час.

Биндюг берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки.

Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку — «буржуйку» и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей Жуком о количестве ножек и усиков.

— Эх ты, Жук! — корит Костю Степка. — Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь.

Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день

комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами.

Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его ни гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами. Он называет их шутя «рисовошками».

А в углу, за партой, мы — я и Степка — сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!

Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет.

— Чего же они не встречаются?.. — беспокойно шепчет комиссар. — Пущай встренутся… И точка…

— Кто не встречается, товарищ Чубарьков? — спрашиваю я.

— Да они же, А и Б… путе…шественники…

Карлыч встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.

Так и не увидел комиссар этого плаката, потому что ветер сорвал его со стены за неделю до того, как комиссар сказал доктору:

— Ша, похворал и — точка!

Блуждания швамбран, или таинственный солдат

Школа кочевала, и вместе с ней блуждала Швамбрания. Бурные события в жизни Покровска и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В Швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки.

В Покровске выползла из подполья и стала официальной вошь. Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы

взяли списки знакомых швамбран, царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого же похоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например бывшим Придворным Водовозом или Иностранных Дел Мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию.

— Что это за игра, где никто важный не умирает? — доказывал Оська. — Живут без конца!.. Пусть умрет кого жалко.

После продолжительных и тяжких сомнений в Швамбрании скончался Джек, Спутник Моряков. Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шателена. Умирая, Джек, Спутник Моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз:

— Же вез а… Я иду в… их гее нах!.. Ферма ля машина!.. Стоп ди машина!..

После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой.

Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Боль-

шого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ракушечного грота в одиночестве и паутине хирела королева — хранительница тайны. Швамбрания продолжалась.

Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в Швамбранию… Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата. Но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську на смех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали Швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська взял под сомнение реальность мира, а с другой стороны, стал как будто тихонько верить в подлинное существование Швамбрании.

Швамбрания первой ступени

Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар.

— Я знаю, — сказал Оська. — Сахар получается в школе.

Временно заведующий школой Кочерыгин заменял отсутствующего ботаника.

— Не по сути говоришь! — сказал он. — Сахар из земли вынимают, на манер соли.

Оська добавил, что «это не сахар, а сахарин находят в керосине, который брызгается из-под земли».

Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что, по наведенным им справкам, точно в земле добывают не сахар, а сахарин… Только не из керосина, а из угля. К Оське Кочерыгин стал относиться с большим почтением.

Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры Швамбрании. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочерыгин вёл и географию. Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка.

— Какое государство тут жительствует? — спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну. — Ну-ка? Кто знает?

Класс не знал.

— Это Швамбрания, — сказал Оська озорничая.

— Как говоришь? — переспросил временно заведующий.

— Швамбрания! — повторил Оська уже серьезно.

— А нешто есть такая? — нерешительно спросил временно заведующий.

— Есть, — отвечал Оська. — Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда.

— А почему в книжке ее нет? — шумел класс.

— Она еще на глобусе не нарисованная, — сказал Оська, — потому что новая страна.

— А ну-ка, расскажи про нее все как есть, — сказал временно заведующий.

И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о Швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зуба, и класс, затаив дыхание, слушал о диких коньяках, живущих в ущельях Северных Канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренабора, о путешествии покойного Джека, Спутника Моряков, о злодеяниях Уродонала Шателена, скорбел о славном Джеке Спутнике Моряков. Временно заведующий тоже остался доволен уроком швамбранской географии.

— Здорово знаешь, — сказал он. — Ну и памятливый у тебя чердак, удивление! И откеля ты все

это вызубрил?.. Ну, садись. Ребята, — обратился он к классу, — чтоб к тому разу все это назубок и без запинки.

Оська вернулся из школы в необычайном сиянии.

— Швамбранию уже в школе учат, — сказал он гордо.

И я едва не сел на пол.

Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали: «Швабра! Швабра!..» Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбрана. Оська хныкал и ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в Швамбранию.

И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, к нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине.

— Молодые люди, родные, уважаемые, где здесь... это... — начал один скороговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии. — Где тут в штабармию пройтить? В красные добровольцы

записаться…

Так вот куда искал дорогу таинственный солдат!

Вход с улицы

Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды Тратрчока.

Школа переезжала.

Металась Швамбрания в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты.

И только дом наш незыблемо стоял на своем причале на старой широте, на прежней долготе. Он заржавел, он врос в дно — уже не пароход, а тяжелая, занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки.

Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа, например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане говорил о том, что отец — военный врач. Он работал в эвакопункте. Затем люди «неподходящего знакомства», знав-

шие всегда лишь черный ход квартиры, теперь все, словно сговорившись, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал. И ведра его были полны достоинства.

Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь между ним и кухней установился сквозняк непочтительности. И в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый (о «неподходящих знакомствах»).

Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что «какие-то просят товарища доктора».

— Кто такие? — спросила мама.

— Да так из себя мужчины, — отвечала Аннушка (всех пациентов она делила на господ, мужчин и мужиков).

Отец вышел в переднюю.

— Мы к вам, — сказали пришедшие, называя папу по имени и отчеству. — Просьба выслушать нас.

— На что жалуетесь? — спросил папа, приняв

их за пациентов.

— На несознательность, — отвечали слесарь и плотник. — Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящим. Мы вот комиссары назначенные…

Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые «отцы города» из скупости закрыли общественную больницу. «Нэ треба!» — заявили они.

А вот явились большевистские комиссары и заявили, что Совдеп постановил спешно открыть больницу, и назначили отца заведующим.

Троетётие

Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он веселый ходил по квартире и напевал: «Маруся отравилась — в больницу повезут».

— Это, как хотите, настоящая власть! — говорил папа. — Есть культурные тенденции. А что ваше Учредительное собрание? Это наш волостной сход. «Нэ треба» во всероссийском масштабе.

«Ваше Учредительное» — это было сказано специально в пику теткам. Дело в том, что на нас со всех концов России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала

из Самары. Самарская и витебская тетки были сестрами, обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга, только одна вместо «л» говорила почти «р», а другая, наоборот, «р» произносила совсем как «л».

— По симпатиям своим я социаристка-реворюционерка, — говорила витебская тетка.

— А я по своим воззлениям — налодная социалистка, — отвечала тетка из Самары.

Папа шутя прозвал их «учледиркой», а мы — тетей Сэрой и тетей Нэсой.

Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка.

Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка.

— А когда ты будешь ровно большевичка? — спросил Оська.

Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила «без пяти минут». Она теперь уверяла, что «во многом она почти коммунистка».

Питерская тетка поступила служить в Тра-

трчок, а тетя Сэра и тетя Нэса — в Упродком. В свободное время они рассказывали «случаи из жизни», спорили и воспитывали нас. Школа наша в то время совершенно разладилась, занятия прервались и тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентную особь и ее восприимчивую личность (кажется, они так выражались). Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии. Мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о Швамбрании, тетки пришли в восторг. Они заявили, что это необыкновенно-необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбрании грозило тёточное иго.

Тогда швамбранские стратеги схитрили. Они завлекли теток в глубь швамбранской территории, а там в порядке посвящения мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, замуровали в пещеру с дикими зверями, то есть заперли в чулан с дикими крысами, и велели десять раз спеть гимн.

— «У-ра, у-ра! — закричали тут швамбраны все», — старательно пели в темноте усталые и

раскрашенные тетки. — Ура… Ой, что-то мне лезет на юбку!.. У-ра, у-ра! — и упали… Туба-риба-се!..

Но когда мы потом объяснили им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока, отдыха, перерыва, решительно, до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали Швамбранию грубой игрой, глупой страной, недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт (не без влияния Лермонтова) написал в альбом тете Нэсе такое стихотворение:

Три тетушки живут у нас в квартире.
Как хорошо, что три, а не четыре…

Мир и личность

— Отец хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный, — сказал Степка Атлантида. — В общем, тоже на платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствующий. Тетка эта тоже немного разбирается. Но те две у вас сильно отсталые.

Так сказал Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, покидая нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе. «Учледирка»

выражалась так учено, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные «измы» и «субстанции»… Вообще по-теткиному выходило так: посередке — умная и свободная личность, а все остальные — вокруг нее. Как этой личности кажется, то есть, значит, как она воображает, так все для нее и есть. И на остальное ей чихать!.. Степка же, обратно, утверждал, что семеро одного не ждут, главное — это компания, то есть когда люди сообща. А личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетки сказали, что мы со Степкой грубые реалисты.

— Вот и неправда, — сказал я. — Мы вовсе были гимназисты, а не реалисты.

Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думает, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. Они называются еще материалистами и считают, что мир безусловно существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идеи

и мира-то никогда не было бы… Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное ей, может быть, только представляется, как во сне…

— А мы — личность? — спросил Оська.

— Дря себя безусровно ричность, — отвечала тетка Сэра.

Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для Швамбрании.

Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск, школа, дом, революция — все это нам только снится? Мы даже задохнулись от такого предположения.

Тетки сели на диван. Тетя Нэса стала читать вслух русскую историю.

— Валяги Люлик, Тлувол и Синеус, — читала тетя Нэса, — плишли плавить Лусью.

Мы с Оськой занялись швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще гремели что есть силы. Тетки попросили быть тише. Они сказали, что это неуважение к личности.

— А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет, — сказал Оська.

— Может быть, вы вообще нам только представились? — добавил я.

Тетки пожаловались маме. Мама явилась. Но мы отнеслись критически и к маминому существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе.

— Это еще что за солипсизм? — грозно сказал папа. — Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол.

Нам не дали обедать. Папа объяснил, что ведь суп — это только сон, и если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты, и сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедали и даже сказали «спасибо». Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность и что, кроме нашей личности, существуют еще миллионы других, без которых не обойтись.

Вокруг Солнца

Личность была для нас выкинута из мировой серединки. Огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице. Но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом. Он непоколебимо оставался падежной осью всей жизни. Все остальное, казалось нам, вертится вокруг него большой опасной каруселью. Так

продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссара.

— Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность, — сказал комиссар пациентам, — но меня пропустите без очереди. Я по делу.

— Тута все ожидающие по делу! — загалдела приемная. — Нечего с портфелями вперед соваться!

— Благородного строит, — сказала из угла толстая хуторянка.

На коленях ее шевелился мешок. Там покрякивала жертвенная утка.

В кабинете зажурчал умывальник. Потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди.

— Мое почтение, — сказал он. — Извиняюсь за неуместность, что не в черед. По революционному долгу, товарищ доктор… Я, извиняюсь, к вам как комендант города…

— Присаживайтесь, товарищ Усышко, — сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника. — Что скажете?

— Выкидываться вам придется, товарищ док-

тор, — сказал комендант, — фактически съезжать с квартиры. Тратрчок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке…

Папа подумал: «Вот… начинается… добрались». И папа сказал, поправив красный крестик на кармане:

— Товарищ Усышко, я буду протестовать… Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте…

— Ладно, денек накину, — сказал комендант, — но больше уж никак. А насчет контакта и не успоряю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил… на Кобзаревой… бывшего Андрея Евграфовича дом, Пустодумова… Ничего квартирка… И перевозка, конечно, наша.

— Согласитесь, что я сначала должен посмотреть квартиру, — сказал папа.

— Смотрите на здоровье! — отвечал комендант. — За осмотр денег не берем… А шестого, значит, пришлю подводы… Ну, засим пока!..

И комендант собрался уходить. Но тут взгляд

его упал на папины ботинки.

— Ну как? — спросил комендант. — Носите?

— Ношу! — сердито отвечал папа.

— Левый не жмет? — озабоченно спросил комендант. — Нет? Видите, я тогда говорил, это только сперва, а потом разносится.

— Я должен вам откровенно сказать, товарищ Усышко, — съязвил папа, — что сапоги у вас выходят удачнее, чем революция…

— С какой стороны смотреть, товарищ доктор! — засмеялся комендант, — Штиблеты-то вы заказывали, а революция, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет.

Весть о предстоящем переселении ошеломила и потрясла нас с Оськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире. Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания, а оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь внеземным силам, она ходит вокруг Солнца.

На новую географию

Невиданный караван шествовал по Брешке. Десять верблюдов Тратрчока везли наш скарб.

Были свернуты, подобно походным знаменам, гардины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером. В нем плескалась опрокинутая Брешка. Дрожало пружинное желе матрацев. На другой подводе скакали, топтались стреноженные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате, прямо — рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу «Чижика».

Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали навзничь, вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко, и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару. Но мама героически шагала в голове каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная,

словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей.

Оська шел впереди всех с кошкой в руках. На переднем возу высоко вверху, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опахивал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот с шахматной узницей. Швамбрания переезжала на новую географию.

Шествие замыкала колонна теток.

Новая квартира встретила нас холодно и гулко. Насмешливое эхо передразнивало наши голоса.

Возчики двигали тяжелые книжные шкафы. Папа развел в мензурке немного спирту и угостил возчиков. Возчики говорили промеж себя:

— Ай спирт! Враз берет…

— Да, это вот лекарство!.. Мозговая касторка. На ходу мозги прочистит.

— Капитон, заходи с того боку!.. Книг-то!.. Книг!.. Мать честная! И куды это столько?

— А ты думаешь, у человека в нутре ковыряться так себе, как в носу?.. Тут, брат, тыщу книг прочтешь, да и то обмишулишься: не в тою кишку заедешь!..

Тетки ходили за возчиками и следили, чтоб они чего не взяли, ибо теперешний народ, сказали тетки, чрезвычайно вольно обращается с чужой

собственностью. В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею.

— Что? Уж свою повесили? — спросил явившийся комендант. — Фасонная люстрочка! Петроградской работы небось?

Тетки замялись.

Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Нэса, как ширма, заслонила меня.

— Да, да, товалищ, — торопливо сказала тетка, — петлогладской лаботы люстла.

Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумову, дескать, все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.

Владычество вещей

Уже стихал резонанс комнат. Вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же угол мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму. Швамбрания утверждалась.

Папа, стоя на стремянке с молотком в руках,

вешал на стену портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака «Лев Толстой». Папа ораторствовал. Стремянка казалась ему трибуной.

— Сегодня я лишний раз убедился, — говорил папа, — что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого на старой квартире!.. Дети! (Леля, вынь сейчас же гвоздь изо рта! Не знаешь элементарных правил гигиены!..) Я… говорю, дети, учитесь презирать вещи!..

Затем мы с Оськой пошли пристраивать на стене в столовой раскрашенное блюдо-барельеф. На блюде высился замок и гарцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены. Блюдо ударилось об пол. Рыцари погибли, а от замка остались одни развалины-руины.

Папа прибежал на дрызг. Он накричал на нас. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами… Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов: королева, трость, вечное перо и т. п. и т. д.

Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать

вещи. Папа совсем рассвирепел. Он сказал, что сначала надо научиться беречь вещи, потом их заработать, а после уж можно начать презирать их.

Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уже второй час искала эту самую бумажку…

Утеряны следующие документы

Во взбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными колибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитового стекла и чувствовали себя дома.

Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть. Комнаты обживались. Прежний уют был восстановлен на новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином:

— Революция… (Ося! Доешь морковку: в ней масса витаминов…) Революция, я говорю, полна жестокой справедливости… Действительно: кому по праву должна была принадлежать эта квартира? Толстосуму-купцу или врачу? Вообще я

считаю, что пролетариат и интеллигенция могут найти взаимный подход.

— Боже мой! Кто из нас в душе не коммунист? — говорили тетки.

Через день у нас забрали пианино.

Тратрчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал санитарную кантату. Хору было необходимо на одну неделю пианино. Мобилизовали наше.

Мамы как раз не было дома, и она унесла в сумочке охранные грамоты на пианино, выданные ей Уотнаробразом как учительнице музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте. Но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе и он дела так не оставит и, если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию центральных «Известий».

Пианино выносили, как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответствующе.

Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала. Она спросила очень быстро:

— Вынуть успели?

Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаме-

нели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке потайной сверток. Там были четыре куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных «николаевских» денег, бумажек… Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты Бренабора, гербы, письма героев, афиши Синекдохи и другие секретные манускрипты из швамбранских канцелярий. Теперь все это уехало в Тратрчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну.

Мама решительно встала, вытерла глаза и пошла в Тратрчок. Я вызвался сопровождать ее.

Мама была растрогана. Она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.

Концерт в Тратрчоке

В Тратрчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир понимающе подмигнул. «Письмишки!» — сказал он и разрешил.

Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, старались подобрать в четыре руки собачью польку. Увидя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме:

«Письмишки…» «Ура! ура! — закричали тут швамбраны все», — мурлыкал я, выходя из Тратрчока.

Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик:

— Сто-ой! Мадам! Вертайся обратно!

Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В Швамбрании

тоже произошло землетрясение.

— Вертайтесь, гражданка! — сказал командир. — Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, говорят, она пианину испортила, чтобы нам не досталась, разладила… Вынула, кричат, главную часть. Она сразу и играть перестала.

— Что за глупости, товарищ! — сказала мама. — Вероятно, просто вы не умеете играть.

— Как же, до вас играло, а как вынули чегой-то, так сразу ничего и не выходит, — говорил командир. — Нет, уж вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все это на место.

Мы побрели назад в Тратрчок.

Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино. Они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, а за это — на мушку.

Командир успокаивал их.

— Сознательнее, сознательнее, ребята, — говорил он, но сам, видимо, тоже был очень взволнован.

Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затихли.

Мама взяла широкий аккорд. Но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получил-

ся глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром.

Мама убито и растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам что есть силы, но пианино опять ответило шепотом. Зато загремели красноармейцы.

— Испортила! — кричали они. — В Чека ее за такое дело… в Особый отдел!.. Ведь это что ж такое?..

— Мама, — сказал я, вдруг догадавшись, — модератор!..

Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор — заглушитель, — и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была.

У красноармейцев просветлели лица. Для проверки они попросили привесить сверточек обратно. Мы привесили. Но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое, этакое…

— Я, товарищи, польки не играю, — строго сказала мама, — это вы уж сына попросите.

Красноармейцы попросили, и я влез на ящик.

Меня окружали белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педали я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев.

Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. А я гулко играл что есть силы подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками, и вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробуя пол. Потом он подбоченился — и пошел-пошел по раздавшемуся разом кругу, закинув голову и притопывая. Высоким голосом он запел:

Что за стыд, что за срам,
Что за безобразия,
Поналезла нынче к нам
Всяка буржуазия.

Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно:

— Мадам, то есть теперь гражданка! От бойцов и от себя лично прошу… исполните персонально что-нибудь более сознательное… скажем, из какой-нибудь оперки увертювер…

Мама села на ящик. Она вытерла клавиши

платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу. Но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется.

Мама играла увертюру из клавира оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама.

Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавишей руки… За подымающимися ее кистями, как паутинка, потянулся, затихая, финальный аккорд.

Все откинулись вместе с мамиными руками, но несколько секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот… И только после отчаянно захлопали.

Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки близко к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты.

— Ярко вырожденный талант, — сказал маме, вздыхая, командир. — Выше не может быть никакой критики.

Мы были уже на середине площади, а с крыльца Тратрчока все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушивалась к ним.

— Удивительно, как облагораживает людей

искусство! — говорила потом мама теткам.

— Таких рюдей не обрагородишь, — отвечала тетка Сэра. — Есри бы обрагородирись, роярь бы вернури.

Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте (оно было возвращено стараниями вставшего с тифозной койки Чубарькова), в «Известиях», в отделе «Ответы читателю», было написано:

> «Врачу из Покровска
> Пианино конфисковано незаконно, как у лица, для которого оно служит орудием производства.»

Папа торжествовал. Он показал газету всем знакомым. Он вырезал ото место и хранил вырезку в бумажнике, а Степка Атлантида сказал по этому поводу:

— Это о вашей пианине в «Известиях» напечатано… Ну-ну-ну, на всю Ресефесере размузыканили! Эх вы, частная собственность!

Дезертиры, знакомства, сквозняки

Секретный сверток был положен теперь в ма-

ленький ящик маминого письменного стола, а стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты, одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень обрадовался ему. Комиссар тоже.

— Вот мы теперь с тобой и туземцы будем, — сказал комиссар, снимая пояс с кобуром и кладя его на стол. — Дашь книжку почитать?

— А то! — сказал я, рассматривая наган. — Заряженный?

— А то! — отвечал комиссар. — Не трожь.

Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос и ушли, прошептав: «Распоясался солдафон!»

В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал:

— Тэк-с.

— Сразу видно интеллигентного человека, — решили тетки и вошли приветствовать жильца.

Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех оделил своими визитными карточками с золотым обрезом. На

карточках стояло: «Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан». А внизу помельче: «марксист».

Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан оказался личностью отнюдь не швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Ла-Базри-де-Базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал покровскую газету «Волжский Буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил «всех уважаемых читателей с 1917-м днем рождения первого социалиста. И. Христа…» Через день газету поздравили с новым редактором.

Теперь Ла-Базри-де-Базан работал в Тратрчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений, но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали «адъютант для особых развлечений». Красноармейцы звали его «Лабаз-да-Базар».

В третьей по коридору комнате расположилась «Комиссия по борьбе с дезертирством». Целый день туда паломничали раскаивающиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Дом кишел

дезертирами. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести. Но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами.

— Ишь ты! — удивлялись дезертиры. — Маханькая, а как шибко!

Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знакомства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы. Калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у коновязи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры: злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный

Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна Лабаз-да-Базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при Швамбрании.

Маркиз и солдафон

Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне якшаться с «солдафоном». Но мы с Оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним в конюшни чистить военных лошадей и вместе мечтали о пароходах.

У Лабаз-да-Базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, рюмки, мундштуки, коробочки, ногтечистки заполняли подоконники. На стене висел портрет киноартистки Веры Холодной… Лабаз был вежлив, он всем уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что он скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости — военные дамы и штатские мужчины, прежние «отцы города» и «сестры милосердия». Тогда в комнате Лабаз-да-Базара было очень шумно. До глубокой

ночи стонала гитара. Лабаз-да-Базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Нэса просыпалась и вздыхала.

— Он очень милый и благовоспитанный человек, — говорила тетка, — и он, конечно, не виноват, что у него нет ни голоса, ни слуха. Но зачем он поет, не понимаю…

Однажды Ла-Базри-де-Базан подпоил комиссара. Чубарьков долго отказывался. Но маркиз уговорил.

— Пей, — говорил, — пей. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей…

Распоясанный и без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар.

— Доктор, — сказал он, — словаря третий том я кончаю, а все галах… Бурлацкая моя жизнь. И точка.

Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться. Но он вскочил и выбежал из комнаты во двор.

Через пять минут комиссар вошел с улицы. Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры звенели коротко и твердо. Комиссар вынул наган. Лицо его сводила мучительная сосредоточенность.

— Тут кто-то из военного отдела безобразничал, — сказал комиссар отрывисто, — пьяный валялся… Нашу красную власть позорил. Где он тут? Сейчас же под арест! И точка.

Комиссар обыскал комнату. Папа быстро загородил зеркало. И комиссар не нашел себя.

Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем.

— Чтоб больше у меня этого не повторялось! — сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого. — Точка! Ша!

Чем пахло мыло

Несчастье обнаружилось вечером. Ла-Базри-де-Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить, цел ли секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты — все исчезло. Швамбранские тайны были похищены…

Папа и мама вернулись в столовую. Все сели за стол. Начался пленум семейного совета.

— Вот вам маркиз ваш, — сказал папа.

— Не может быть! — сказали в один голос тетки. — По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и

«реквизировал», как это у них называется…

— Меня возмущает наглость! — убивалась мама. — И мыло… А денег этих мне совершенно не жаль… Все равно они никогда не пригодятся… Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть!

— А зачем же ты их тогда прятала? — спросил я.

— Ну, все-таки, — сказала мама, — мало ли что…

Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука.

Папа встал и заявил, что он сообщит в Чека и Особый отдел. Тетки замахали на него руками.

— С ума сошер! — кричала тетя Сэра. — Жароваться разбойникам на разбойников! Да вас самих заберут и расстреряют…

Но папа стукнул кулаком по столу. «Учледирка» стихла. Зажужжала рукоятка телефона.

— Особый отдел, пожалуйста, — сказал особым голосом папа. — Занято? Тогда соедините меня с Чека.

— Тише же! — испугалась тетя Нэса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом.

Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками, в кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чубарькова. Вместе с комиссаром все вошли к Лабаз-да-Базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился, потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей.

— Милости прошу, — сказал он, — прене во пляс, как говорят. Прошу. Могу кое-чем угостить.

Был обыск.

Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла.

— Наше, — сказал папа.

— Извините, мое, — отвечал маркиз.

Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажками и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него.

— «Письмо к царю», — читал, перебирая бумажки, человек с усиками, — «Карта боя», «План города П.», «Тайный приказ», «Список заговорщиков»… Что это такое? — спросил он у маркиза.

— Не знаю!.. — бледнея, отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом.

— Как же это у вас очутилось?

— Не знаю… Честное слово, товарищ. Это все не мое… И мыло тоже… Я ничего не знаю.

Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, похожим на плевок в лицо.

Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел!

— Это наше! — сказал Оська. — Пускай обратно отдаст, раз взял.

Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно переглянулись.

— М?.. — вопросительно произнес один.

— Умгу! — утвердительно отвечал другой.

— Товарищи! — сказал я. — Это просто мы играли и спрятали в мыло. Больше ничего.

— Там разберем, — сказали они. Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку:

— Слушаешь? Это Шорге говорит. Этого я задержал. Да, найдено, признался. Но тут кое-что любопытное обнаружилось. Да, да. Ребята говорят, это их. Да. Сомнительно. Что? Обоих? Есть! — и щелкнул рычажком, как каблуком.

Потом он о чем-то посоветовался с Чубарьковым. Чубарьков смущенно посмотрел на нас.

— Леля! Вося! — сказал комиссар. — Айда, прокатимся на машине. На автомобиле. Начальник

очень просит. Пускай, говорит, Леля и Вося мне о бумажках этих все расскажут. И точка. И я с вами заодно прокатнусь. Есть такое дело? Точка.

Тетки по очереди, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе.

Большой автомобиль увез нас в Чека. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения.

Швамбраны посещают Чека

Кабинет был тих. Два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали.

— Ну-с, ребятены, — сказал очкастый, — присаживайтесь. Так в чем же дело?

И он посадил Оську на стол. На столе лежал браунинг.

— Заряженный? — деловито спросил Оська и вдруг принял свой обычный тон.

— А вы кто? Главный чекист? Да? Велите ему, чтоб он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали…

— Сейчас все устроим, — сказал очкастый, — только для этого всю как есть правду говорите!

Ладно?

Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Мне было очень неловко.

— Чепуха какая-то! — сказал латыш сердито и передал бумаги очкастому.

Тот внимательно проглядел их.

— Что за город П.? — спросил толстый.

— Это Порт-у-Пея, — объяснил я, — порт у города Пея.

— А где такой есть? — изумился начальник.

— В Швамбрании, — ответил за меня Оська. — Это страна такая, как будто. Ее Леля сам открыл. Ми в нее всю жизнь играем.

— Ишь ты, какой Колумб твой Леля! — сказал начальник. — Ну, а если игра, так зачем же эти документы прятать было?

— Для секрету, — сказал Оська, — чтоб тайна была. Когда тайна, интереснее.

Тогда заинтересованный начальник попросил нас рассказать ему про всю нашу Швамбранию. Мы начали неохотно. Но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объяснили герб и карту, перечислили всех членов династии Бренаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты, а Оська даже вспомнил фамилию

последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но…

Начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке и мотал головой, стараясь отогнать насевшее на него веселье.

Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта; ресницы его сплющились. Что-то екало в горле, как селезенка у лошади.

Мы с Оськой обиженно смотрели на них. Потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало.

— Ох! С вами театра не надо! — сказал уморившийся начальник. — Помру, думал… Ох, как это, говорите… Бренабор? Ой, надо ведь такое состряпать… Ведь какая система! Сдохнуть можно! А что, — спросил он вдруг серьезно, — трудно управлять государством?

— Ничего, спасибо, — отвечали мы, — управляемся понемножку. Хотя бывает иногда — не разберешься.

— Ну, а зачем же вам все это понадобилось? — спросил начальник.

Это был серьезный вопрос. Я набрал в грудь

воздуху.

— Мечтаем, — сказал я, — чтоб красиво было. У нас, в Швамбрании, здорово! Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие! Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару — сколько хочешь. Похороны редко, а кино — каждый день. Погода — солнце всегда и холодок. Все бедные — богатые. Все довольны. И вшей нет.

— Чудасия вы, ребятены! — серьезно и тепло сказал начальник. — Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим и вшей упраздним. Погоди! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать… Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. Ночь уж. Поздно. Вон младший швамбран как зевает: того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша небось беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну.

Сам начальник отвез нас домой. На прощанье он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля. Начальник, смеясь, сказал, что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени. Он рекомендовал скорее ввести в Швамбрании целиком советскую власть, а потом бросить мечтать и помочь делать

настоящие мостовые.

— А что вы сделали с Лабаз-да-Базаром? — спросил я, окончательно осмелев.

— Пошлем жить в эту… как ее… Пи-ли-гвинику, — сказал начальник. — Он ведь тоже выдумал самого себя. Но выдумал гадко и играл в себя на деньги… Ну, покойной ночи, ребятены! Желаю швамбранских снов и доброй яви!

Новый простор для блужданий

Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой Аткарской улице. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра.

Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие Дома (с большой буквы) было давно разгромлено. Развенчанные вещи пристыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приблудились к знакомым.

Переезд совпал с новыми пертурбациями в Швамбрании. Произошли опять значительные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения Чека мы уже были близки к цели наших скитаний в

мире. Но новое, совсем новое увлечение приблудилось к Швамбрании. По истечении трех дней мы считали этот азарт откровением истины.

Это был театр.

В Покровске открылся Городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение».

Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменяли сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паек.

Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом: Энритон, Полонич, Вокар… Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так, в паспорте Вокар значился Раков.

Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный (через несколько лет я встретил его в Москве директором известного Театра сатиры). Специальностью Холмского были мерзавцы и Наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской Совет поручил ему расписать изнутри здание театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры (человеко-лошади), трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся. Он любил крайности.

Одних он с головой запаковывал в железные латы, другим не выдал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета, он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано; «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное рабочий народ!»

Покровчане остались недовольны росписью театра.

— Партийные, а голых рисуют, — говорила публика. — Чисто баня какая, а не театр!

Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам нравилось все в нем: гонг, антракты, очередь у кассы…

Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, семечки лопались под ногами, как вши. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотрясал легкий гул. Это зрители

тихонько стучали ногами, согревая подошвы.

— О, какой зной! Мне душно! — говорила на сцене королева, обмахиваясь веером, а изо рта валил пар, как из самовара. Телогрейка просвечивала под ее кисеей.

Из будки дымился шепот суфлера. От зрителей несло нафтолизолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью, а когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках и снимали вшей.

Швамбрания для взрослых

«Учледирка» иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Сэру один раз едва не побили. Только успели открыть занавес и задул закулисный сквозняк, как в зале из первых рядов раздался теткин голос.

— Закройте же там! Дует! — сказала тетка, как будто занавес, эта волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой.

И все зрители обиделись.

Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на

кухню чудес. Нас поразила грубая невсамделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. Зато с восхищением рассматривали мы взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище Швамбрании.

В зале над аркой сцены шла надпись:

МИР — ТЕАТР, ЛЮДИ — АКТЕРЫ (Шекспир)

Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе.

Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом.

— Искусство отвлекает людей от серой, будничной жизни, — говорили тетки. — Оно переносит нас в мир прекрасных образов.

Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно, как мы с Оськой, когда играли в Швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство — это Швамбрания для взрослых. Они играли в нее серьезно.

Однажды во время спектакля «Вечерняя заря» потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованное клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец взял револьвер.

В эти минуты я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. Пламя тоненьким фонтанчиком встало из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уж доставало до края холщового павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрания владычествовала в зале. Отец щелкнул взведенным курком.

Декорация задымилась.

— Так умри же, несчастная! — крикнул отец.

— Лампа коптит! — закричал я, сбросив оцепенение.

Ловкий актер нимало не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой — закончил пьесу.

Театр был спасен. Но не успел упасть занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали,

что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком, а теперь вот вышло не убийство, а какая-то комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил Швамбрании.

Разгадка гитика

...А я обучался азбуке с вывесок...
Маяковский

Две вещи уже давно занимали и мучили меня. Несколько лег я пытался понять их истинное предназначение. Это были: старый локомотив, вросший в землю на Скучной улице, и таинственное слово «гитик», упоминавшееся в известном карточном фокусе.

И вот я узнал, что такое «гитик». Простая вывеска расшифровала его. Вывеска оказалась более сведущей, чем учителя гимназии и энциклопедический словарь. Я не мог поверить своим глазам, когда на одном из домов бывшей Брешки, теперь Коммунарной площади, я издали уже прочел: «ГИТИК». Я подбежал ближе. «Городской Институт Театра и Кино», — прочел я.

Покровск захватило повальное увлечение

театром. Все играли. Тратрчок, Уотнаробраз, Упродком и Волгоразгруз имели свои любительские труппы. Расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской ГИТИК. При ГИТИКЕ открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда. Потом к нам присоединились Степка Атлантида и Тая Опилова.

Мы готовили к постановке пьесу «Принц Форк-де-Форкос». Принц этот был влюблен в принцессу, а королева, ее мать, была гордая и вообще дрянь. Принцу показали нос. Потом принц расколдовал гриб, а оттуда вылезла фея и дала принцу абрикос. Королева съела абрикос, и у нее вырос огромный нос, а на острове Родос, где жил Форк-дс-Форкос… Словом, там еще много строк кончалось на «ос».

Принцессу играла Тая Опилова. Мы со Степкой едва не поссорились из за роли принца, потому что принц по ходу действия должен был объясняться в любви принцессе, а принцесса, считали мы, догадается, что это не только по ходу пьесы… Режиссер Крамской дал роль Степке. Он сказал, что Степка старше, выше меня и голос его мужественнее. Как будто я не мог басить, если бы захотел!

Мы упросили Форсунова взять роль вели-

кана-колдуна. А гримировал Гришка Федоров — родной сын настоящего парикмахера из настоящего театра.

Вечером, в день спектакля, мы пошли в ГИТИК. Я играл шута. Оська — бессловесного гнома. Оба мы волновались. Гришка Федоров загримировал нас. Зал нетерпеливо гудел за занавесом, опасный, насмешливый, неведомый. Пора было начинать, но не было Степки и Форсунова. Режиссер нервничал, шагая за кулисами.

— Бремя! — кричал зал и топал. Наконец они явились. Оба были суровы и торопливы.

— Лелька, прощай! — сказал Степка. — Мобилизация коммунистов. На фронт шпарим… А я добровольцем. Еле упросил. «Молод», — говорят. Все-таки взяли. Сейчас эшелон уходит. Счастливо оставаться!

Руки наши сшиблись в крепком пожатии. Степка помолчал, потом откашлялся.

— Тайку небось теперь один провожать будешь, — тихо сказал он. — Ладно уж, мне не жалко. Только других, смотри, отшивай…

Зал едва не рушился. Форсунов с вещевым мешком на спине вышел за занавес. Зал стих. Форсунов поправил на плече лямку мешка.

— Спектакль откладывается, — сказал Фор-

сунов.

— На когда? — закричал зал.

— Как только белых побьем! — отвечал Форсунов.

Главный мужчина

Через день папа уехал на уральский фронт. Папа ехал в неминуемый тиф: фронт разъедала сыпнотифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо: кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается перед дорогой.

— Ну, надо, — сказал, вставая, папа. Он расцеловал нас.

— Смотри, — сказал он мне, — ты теперь в доме главный мужчина.

В дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся.

— Прием отменяется, — сказал папа, — видите, я уезжаю.

— Доктор, батюшка, сделай милость, — взмолился больной, — долго ль посмотреть! А то прямо сил нет, как сводит… А ждать-то тебя…

Может, ты там и помрешь.

Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол.

— Раздевайтесь, — сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет.

Через десять минут папа уезжал.

— Так помните, — говорил он больному, садясь в сани, — по семь капель после еды.

Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали.

— Но, но, дамье! — грубо сказал я. — Утритесь!

Тетки испуганно стихли. Но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты.

На твердой земле
Уроки нам и другим

Не помню, сколько прошло времени. Возможно, что год, а может быть, месяц… Календарей не было. Время тогда было трудно измерить. Его течение потеряло равномерность. Когда удавалось выменять, скажем, старый гимназический мундир на сало «шпек», дни глотались залпом. Другие, сухомятные, дни тянулись, как недели, — долго и голодно. Распорядок суток стал совсем иным. Прежде центральным пунктом дня, укоренившимся часом сбора всей семьи был обед — торжественная еда, таинство, церемониал принятия пищи, трапеза, и весь день отмеривался «до обеда» и «после обеда». Теперь обеда как такового часто не было. Ели, когда было что есть. «Давайте подзакусим», — говорила тогда мама.

И ели на ходу, как на вокзале, стоя, так как было страшно вступить в общение с ледяным стулом. В комнате было студено, и каждый инстинктивно скупился уделить собственный нагрев бездушному предмету…

Мы двигались, сторонясь холодных вещей. Ве-

щи хватали наше тепло. Установили дежурство истопников. Утром дежурный, кляцая зубами, выползал из-под горы одеял и портьер. Реомюр стыл на четырех. Дежурный прыгал в неуютные валенки и растапливал печку-»буржуйку». Печурка кратковременно распалялась. Вместе с Реомюром поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял — душа нараспашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахарином.

Мама теперь служила в музыкальной школе. Но занятия ввиду отсутствия помещения происходили у нас. Ученицы пихали валенками педаль. Костенеющими пальцами они тревожили простывшее нутро пианино. Мама в шубе и перчатках ловко поднимала из-под их пальцев западавшие клавиши.

Ко мне тоже приходила ученица. За фунт мяса в месяц я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломийцеву грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне нелегко. Ученица моя упрямо не доверяла буквам. Она руководствовалась больше собственными догадками. Ей надо было, например, прочесть слово «Нюра».

— Ны и ю — ню, — читала она, — ры и а — ра…

Получается Анютка! — радостно заключала она. В другой раз одолевали мы слово «сапоги».

— Сы и а — са, — карабкалась по слогам Анюта, — пы и о — по, значит — сапо… Теперь гы и и — ги…

— Ну, что вместе получается? — спросил я.

— Валенки, — сказала Анюта.

По дороге туда

Там, за горами горя, солнечный край непочатый.

Маяковский

После урока мы с Оськой шли собирать солому, чтоб протопить немного голландку. Пользуясь ее быстротечным теплом, ставили тесто для хлеба. Мы по очереди месили опухшими сизыми руками тягучую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что мнем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества, от Уродонала Шателена до адмирала Колчака.

Вечерами все скоплялись у стола. Электричества не было. Лампочку-ночник зажигали только по воскресеньям, и это бывал действительно светлый праздник. Будни освещались коптил-

кой. Фитилек, скрученный из ваты, опускался в чашку с постным или деревянным маслом. На его конце жил шаткий огонек. Комната заполнялась черными ужимками теней.

Тетки подвигали лампочку к себе. Тетки сидели в ряд, строгие и слегка потусторонние. Лампочка немножко светила на их лики. «Учледирка» напоминала богородиц в пенсне. Тетки читали вслух. После они разговаривали о красивом прошлом и разрушенной жизни.

— Боже мой! Какая красивая была жизнь! — вздыхали тетки. — Концерты Собинова, альманахи «Шиповник», пятнадцать копеек фунт сахару… А теперь?!

— Тетки! — говорил я голосом главного мужчины из темного угла комнаты, где происходила у нас Швамбрания. — Послушайте, тетки! Я же раз навсегда просил, чтоб вы контрреволюцию агитировали про себя, а не вслух. Мне, конечно, с гуся вода и чихать… Но вбивать несознание в маленьких…

И я, подойдя к столу, указывал глазами на Оську. Я с некоторой поры ощущал себя стремительно повзрослевшим. Ответственность за дом не только не давила меня — она вздымала. Я чувствовал, что складнее стал думать, что легче

стали подбираться нужные слова, что тверже я стал знать многое. Без страха и упрека смотрел теперь я в глаза действительности. Соломенная повинность, ознобленные пальцы и каша из тыквы не омрачали меня. Отсутствие календаря, еда на ходу, жизнь в шубах — все это придавало нашей жизни временный, вокзальный, проездной характер. Но это не было очередным блужданием швамбран. Жизнь перемещалась в ясном направлении. Только дорога была непривычно трудной.

— Мама, не огорчайся, — говорил я матери в дни, когда не было чечевицы, керосина и писем от папы. — Не надо киснуть, мама. Ты возьми и воображай, будто мы каждый день долго едем через всякие пустыни и разные тяжелые горы… Едем в новую страну… прямо необыкновенную…

— Куда едем? — безнадежно говорила мама. — Опять ваша Швамбрания?

— Да не в Швамбрании это, мамочка, а факт, — убеждал я. — Это ничего, что вот у нас коптилки, и солому таскаем, и что руки поморожены… Правда, мама… Помнишь, у нас были неподходящие знакомые Клавдюшка, Фектистка? Им ведь жилось всю жизнь в сто раз плоше, чем нам сейчас немножко. Это, мама, нечестно даже было

бы, если бы нас сразу так шикарно доставили туда. И так мы уж больно пассажиры какие-то… А тетки — это прямо зайцы, которых высадить надо бы. Вот папа — это дело другое. Хоть я очень соскучился, но это правильно, что он на фронте.

— Вы слышите? — ужасались тетки. — Боже мой! Воспитывали их, гувернанток нанимали — и что же! Чекисты какие-то растут!

А я мечтал. Вот вернется Степка. Я пойду ему навстречу в заплатанных валенках, с прелой соломой в руках.

«Здорово, Степка, — скажу я. — Дай пять… (Только не жми, а то у меня руки отекли…) Вот видишь, Степка, я теперь главный мужчина в доме и запретил контрреволюцию с теткиной стороны. Немножко проголодался, но это ничего. Буду есть тыквенную кашу до победного конца».

«Молодец парень, — скажет мне Степка, — хвалю за сознание. Держись. И каша — хлеб».

«Но мне обидно ехать пассажиром, — скажу я, — я хочу матросом!»

«Будь! — скажет Степка. — Будь матросом революции».

Тут мечты обрывались, как лента в кино. Как стать матросом революции, этого я не знал. И мама бы не пустила…

Герой желудочного происхождения

Однако Швамбрания продолжалась. В пространстве она не сократилась, хотя времени занимала теперь много меньше. Затем швамбран постиг тяжелый удар. В наше отсутствие мама ухитрилась сменять у вокзала на четверть керосина… ракушечный грот вместе с узницей его — Черной королевой, хранительницей В. Т. Ш. Так бесславно погибла она для нас. Мы пережили получасовое отчаяние. Солнцу Швамбрании грозил закат. Но зато вечером зажгли лампу.

Швамбранская игра в то время сводилась главным образом к воображаемому обжорству. Швамбрания ела. Она обедала и ужинала. Она пировала. Мы смаковали звучные и длинные меню, взятые из поваренной книги Молоховец. На этих швамбранских пиршествах мы немножко удовлетворяли свои необузданные аппетиты. Но сахарный фонд Швамбрании убывал только по праздникам. Главным поваром Швамбрании был Жорж Борман. Его мы взяли со старой рекламы какао и шоколада. Жорж Борман был последним героем Швамбрании. Это был герой чисто желудочного происхождения. Никакого нового

заблуждения он уже не мог состряпать.

Вообще в Швамбрании наступила эпоха упадка. Но случайные обстоятельства дали толчок новому расцвету государства Большого Зуба. Эти обстоятельства жили в большом заброшенном доме на нашей улице.

Дворец Угря

Дом был выстроен когда-то слегка свихнувшимся немцем-богачом по фамилии Угер. Улица произносила: «Угорь». Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжих водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение. Его владельца обуревали честолюбие и жажда сногсшибательного благоустройства. Он задумал украсить Покровск необыкновенным зданием. Он рвался в славу. При этом Угорь не доверял инженерам. Он самолично составил проект своего дома. Постройка шла под его неусыпным наблюдением. Дом вырос в три этажа, да еще с полуподвалом. Одноэтажные покровчане задирали головы и считали этажи по пальцам.

Дом Угря был похож сразу на старинный бояр-

ский терем, на ярмарочный балаган и на висячие сады Семирамиды. В каждом этаже окна были не похожи друг на друга. Окна были и длинные, и круглые, и квадратные, и узкие… Сбоку шли галереи из разноцветных стекол. С этого боку дом был похож на лоскутное одеяло. Весь фронтон дома был расписан живописцами. Внизу баловались русалки. На втором этаже плыли корабли. Разнообразные генералы были нарисованы на третьем. А под крышей охотники в альпийских шляпах с перьями стреляли в тигров и львов.

При малейшем дуновении ветерка дом начинал жужжать и звенеть: то мотались на башенках двадцать два флюгерка, крутились пятнадцать жестяных вертушек и вращались, гремя, в окнах восемь огромных вентиляторов. Даже голуби были озадачены этим пестрым громом. Даже голуби избегали дом. А о квартирантах и говорить нечего.

Сперва в доме помещалось Высшее начальное училище (ВНУ). Но флюгера и вентиляторы не давали «внучкам» заниматься. Пытались квартировать в доме какие-то отчаянные жильцы, но висячие сады Семирамиды стали при ветре раскачиваться, полы гнулись, рамы трещали. Дворец стал рассыпаться, словно карточный

домик. Угорь скончался от горя. В предсмертном бреду он просил поставить ему на могиле флюгер и вентилятор… А дом продолжал тихонько истлевать. Отмирали косяки, перила, иногда целые галереи. Отмирали и рушились. Цветные стекла красовались в окнах соседских домов. По всей улице гремели флюгера, покинувшие дом Угря.

Когда пурга убыстряла разрушение, осторожно приближались соседи. Они тянули за собой порожние салазки. Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиены вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому уже не нужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.

Приключение в мертвом доме

Мы сразу поняли, что огромный дом-мертвец сможет быть новым, удобным и таинственным вместилищем игры. Швамбрания заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри было загажено. Швамбраны оживили развалины, а мертвый дом надолго отсрочил падение Швам-

брании.

Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. По дряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть…

Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. Швамбрания возрождалась. Неисследованным остался только один темный, подозрительный проход, ведущий в засыпанный обломками полуподвал. Мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю. Мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователей пещер.

Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались по развалленным кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выставленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стоек. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а, наоборот, даже уютно.

Когда ему в шестой раз стало уютно, он провалился… Гнилая доска осела под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к самому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой, она давила, стягивала, резала мне пояс.

— Оська, ты упал? — крикнул я испуганно в черную дыру.

— Нет еще, — ответил невидимый Оська, — я лечу, лечу и все никак не могу упасть до дна…

Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался… Он барахтался и извивался, силясь достать пол.

— Леля! Вынь меня отсюда, — попросил Оська, — тут как неуютно… и веревка туго очень…

Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку. Но вдруг что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились. Я полетел в тьму и упал на Оську.

— Теперь упал, — удовлетворенно сказал Оська. — Самое дно, и не туго.

Лампадка разбилась… Мрак клубился в пещере. Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала.

Только сверху, через наш пролом, скупо сочились серые проблески. Приглядевшись к мраку, мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы. Какой-то железный ящик на ножках. Стеклянные и металлические сосуды. Трубки, причудливо изогнутые или свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то.

— Клад, — сказал Оська.

— Тайны, — шепнул я.

— Большие новости, — сказал Оська.

— Еще бы! — шепнул я. — Настоящий клад для Швамбрании! Мы здесь устроим замеча…

Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны. Но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Это проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рыло: сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подбровья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке. Мы услышали грубый голос.

— Вы какого дьявола тут шатаетесь? А? — рычала, сверкая и извиваясь, верхняя губа. — Каким вас манером занесло сюды? Убью, дрянь! Только попробуйте утекать, пришью в два счета, как кутят…

Прескверная ругань увенчала это вступление.

— Чего вы лаетесь без толку? — сказал я, стараясь не стучать зубами.

— При маленьких по-черному не ругаются, — добавил Оська, — а то я тоже буду… Как начну, так не обрадуетесь.

Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем.

Ущербленный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы.

— Отпустите сейчас же веревку! — закричал я. — Чего вы ее держите?.. Самодержавец какой… Вы не имеете права!

— Он думает — старый режим, — сказал Оська. — Вот мы скажем на вас главному начальнику в Чека… Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет…

— Чекой грозишь, пащенок…

И полный кулак взошел над Оськиной головой.

— Стой! Устрани свой кулак, безумный! — прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший. — Сними путы с пленников, — продолжал он тем же напыщенным тоном. — Са-

дитесь, юные пришельцы. Привет вам от старого ученого отшельника! Что привело вас в мою пещеру, о троглодиты?

Кулак затмился. В свете фонаря блеснула лагуной лысина — лысина Э-мюэ, знакомая лысина Кирикова, человека-поганки.

Эликсир «Швамбрания»

— Садись! — сказал мне Кириков. — Я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба — сыны великой и славной страны Швабрии…

— Швамбрании, — поправил Оська. — А откуда вы знаете?

— Я все знаю, — отвечал Кириков. — Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей, но на досуге от своих ученых изысканий подымаюсь на поверхность… Вчера и позавчера, и на той неделе я слышал вас, о швамбране, когда вы здесь, среди этих печальных руин, играли… то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей этой прекрасной Швамбромании…

— Швамбрании, — строго сказал Оська. — А что вы тут делаете?

— И зачем эти штуки тут понаставлены? — спросил я.

Последовало молчание.

— О швамбране, — сказал страшным голосом Кириков, — вы неосторожно прикоснулись к тайне моей утлой жизни, к ране моей души…

— Вы разве душевнобольной? — спросил Оська. — Вы из сумасшедшего домика?

— Я чист душой и ясен разумом, — сказал Кириков, — но я несправедливо обойден людьми и властью. Я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите моей тайны, и я сохраню вашу — вашу тайну, тайну Швамбургии…

— Швамбрании, — опять поправил Оська.

Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти.

— Так слушайте же, братья швамбране! — воскликнул Кириков. — Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.

— Это вы так играете? — спросил Оська. На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В

пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.

— И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей: эликсир «Швамбардия».

— Не Швамбардия, а Швамбрания! — рассердился наконец Оська. — Выговорить не можете, а еще алфизик!

— Не алфизик, а алхимик! — так же сердито сказал Кириков.

Мы стали постоянными гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрания процветала.

Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им: кололи дрова и носили их знакомым какие-то записочки.

Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. Тут же топталась какая-то толстая баба в расписных чесанках и цветной шали.

— Видишь, какая она счастливая? — сказал алхимик. — Она попробовала первые капли эликсира мировой радости… Это Аграфена… то бишь, Агриппина, царица швамбранская… Мы коронуем ее, венчаем на престол… Ура!

— У нас царицев нет, — мрачно сказал Оська.

— Правда, — объяснил я, — мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь Швамбрания — республика… Вот женой президента — это можно.

— Хорошо, — сказал алхимик, — пусть будет женой президента. Аграфе… Э-мюэ… Агриппина, ты хочешь быть женой швамбранского президента?

— Даешь! — сказала Агриппина.

Донна Дина и кузнечики

Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Диндона. Дина — это было ее настоящее имя. Донной ее прозвали за черные волосы и глаза,

блестящие, как крышка пианино, и зубы, ровные и чистые, как клавиши.

Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски обозначает двоюродную сестру. А мы для Дины были по-французски кузены. Но Дина оказалась совсем свойской девчонкой. Услышав от нас: «Здравствуйте, кузина», она расхохоталась, причем засмеялись сразу и глаза, и зубы, и волосы.

— Ну, тогда здравствуйте, кузнечики! — закричала она. — Чем занимаетесь?

— Швамбранией, — ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие. — Потом еще солому таскаем, гулять ходим… Будешь с нами ходить?

— Непременно, — сказала Дина, — а то я без вас заплутаюсь в Покровске. И так еле вас нашла. Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной… У нее столько домов…

— Какая это Шатрова? — удивилась мама. И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали: «Вон дом шатровый. (Дело в том, что дома в провинции называются «флигелями», если крыша имеет два ската, и «шатровыми», если крыша шатром, в четыре ската.) И вот Дина пошла спрашивать

встречных, где здесь дом гражданки Шатровой? Ей указали восемь домов. В третьем она нашла нас.

Даже Оська признал ее красавицей. Она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадтским моряком, и это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску. Мы показывали ей наши развалины. Но об эликсире и алхимике ничего не сказали. О Швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам и пора работать. Так мы дружили, гуляя.

Парни при встрече с Донной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долго смотрели вслед. «Ось гарненькая!» — доносилось до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину.

На третий день своего приезда Дина, к нашему восторгу, прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление — не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас.

— Правильно, — согласился Оська, — у меня

тоже иногда, ох, бурлят чувства!.. Особенно после тыквенной каши.

Дина стала тискать Оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости про революцию, что Дина вскочила и ударила звонкой ладонью по столу. Она стала очень румяной.

— Я забыла, кажется, рассказать, — сказала Дина, — что меня приняли в партию. Я коммунистка.

— Без пяти минут? — язвительно спросил Оська.

— Нет, уже без году неделя, — смущенно, но весело отвечала Дина.

Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись.

Когда Фектистка получил фамилию

— Дорогие кузнечики, — сказала вскоре Дина, — широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии. Но будьте общественны, дорогие кузнечики. Пора!

Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой-читальней.

Тетки определили детскую библиотеку так: общедоступной детской библиотекой называется узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных, как белье старьевщика.

А Дина мечтала о библиотеке так:

— Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека — это будет главный штаб ученья и воспитания ребят вне школы… Любимый ребячий клуб. Каждый — сам хозяин. Научим книжку уважать… Ох, кузнечики, мы такую красоту разведем, куда вашей Швамбрании! Все ребята к нам запишутся… Вот увидите.

Но, чтоб разводить красоту, понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи, хотя Уотнаробраз давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня.

Заодно я мог начать работу в библиотеке.

Я застал Дину проверяющей каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные

ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с Бережной улицы, где жили рыбаки и лодочники, ребят с Щуровой горы, где стояли лесопилки, с Сазанки, от консервного, с костемольного, веснусчатых немецких девочек из Лютеранского переулка. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи, стоя на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Динкой. Дину ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими расспросами.

— Донна Дина, а Донна Дина! — спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине. — Донна Дина… кто это такая — хижина дяди Тома?

— Донна Диновна, — кричал кто-то со стремянки, — Лермонтов — это город или название книги?

— Вот, ребята, примите еще помощника, — сказала Дина, указывая на меня. — Ухорсков, запиши-ка его.

Меня внутри немножко покоробило. Я вовсе не

собирался быть тут каким-то второстепенным подручным. Я полагал, что меня пригласили на роль вождя. Однако я решил пока молчать.

— А мы тебя знаем, — сказали ребята, — ты врачов сын… Тебя не заругают, что ты с нами?

— При чем тут заругают? — обиделся я. — Теперь весь народ равный.

Высокий и скуластый дружинник, по фамилии Ухорсков, подошел ко мне.

— А ты чем хочешь быть, когда вырастешь? — спросил Ухорсков. — Тоже доктором?

— Я хочу быть матросом революции, — сказал я.

— Хорошее дело, — сказал Ухорсков. — А я мечтаю летчиком… фасонно…

Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним и оба обрадовались.

— Ого! Подрастаешь, поколение! — сказал комиссар, ласково оглядывая меня. — Ну что, папан с фронта пишет?

Тут взгляд комиссара упал на толстую книгу, лежащую поверх кипы других.

— «Мертвые души», — почел комиссар и неуверенно взглянул на меня. — Гм, мертвые души… Не духовное что-нибудь? А то поповские книжки лучше изъять, и точка…

Но, узнав, что это — Гоголь, комиссар сказал «ша», и мы пошли выселять.

К моему ужасу и конфузу, выселяемые буржуи оказались близкими родными Таи Опиловой, и сейчас Тая сидела здесь же, на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной… Как только она еще не смотрела! Мне захотелось плюнуть на все и смыться.

— А еще докторов сын! — сказала Тая. И это спасло меня.

— Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой! — обозлился я.

— Точка! — закричал комиссар. — Отбрил, и ша.

Ухорсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом:

— Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал.

— А раньше-то ты меня знал? — удивился я.

— И очень ясно, что знакомый был, — отвечал Ухорсков. — Ты вот меня только не признал. А я, помнишь, вам таз лудил, ведро починял. Фектистка я. Теперь в детдоме живу. У хозяина струмент реквизировал. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолетом сделаю? Чик — и огонь.

— Я некурящий.

— Ну, бандитов пугать пригодится.

Я смотрел на высокого, уверенного Ухорскова и с трудом узнавал в нем робкого ученика жестянщика. Неужели же это тот самый Фектистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была!

На улице, у выхода из библиотеки, меня поджидал комиссар.

Он взял меня под руку.

— Послушай, — сказал Чубарьков равнодушно, — эта самая… товарищ Дина… она тебе кто? Сестра, что ль?

— Ну, сестра, — отвечал я сурово. Но, чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал: — Двоюродная…

— Образованная, видать, — с неожиданной грустью сказал комиссар.

— Еще как образованная! — расхвастался я. — Почти высшее учебное чуть не окончила. Комиссар вздохнул.

Подданные новой страны

Нет! Меня не избрали председателем газетного кружка. Динка сказала ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще чего-то там такое… Этого я уж никак не ожидал от нее!.. И председателем избрали Клавдюшку. Да, да! Ту самую Клавдюшку, которая принималась в швамбранские войны только на роли пленной.

— Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лельку, — заявила коварная Клавдия. — Он все еще про одну страну воображает… Швамбруния, что ли. Играют так. Они и меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало.

Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно.

Никогда я еще так не стыдился своей Швамбрании. Динка улыбнулась.

— Ну, Клавдюшка, — сказала она, — роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Леля все еще в плену швамбранском… Эх ты, братишка, кузнечик мой!..

Следовало бы, конечно, гордо встать и поки-

нуть это сборище насмешников. Но Швамбрания показалась мне в эту минуту более сомнительной, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдание игры. Она становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдя, председательница, подошла ко мне.

— Ты не сердись, — сказала она, — не надо. Лучше «чур не игры»! Выходи из плена!

Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой Швамбрании она не нуждалась. Это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний, о «безземельных ребятах». Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался.

Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим шахматным столиком. «И стуликом», — добавил Оська при избрании.

Ухорсков, Клавдия и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его

подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были «большие новости», но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец.

Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утра. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин — из Краснявки, из Тянь-Дзиня, с Осокорьев…

Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька, тихая, добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как

победоносно палят, салютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей, каждый чувствовал себя хозяином.

И веселая канонада голландок заглушала урчанье пустых желудков.

Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонкие, словно металлические, аплодисменты воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось.

Простая земля

В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара,

хотя и с повидлом.

Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг. Я оделся, чтобы сбегать домой.

— Швамбранский сахар? — спросил Оська, поняв меня.

— Безусловно! — сказал я.

Дина была искренне тронута. Я представлял себе, что бы вышло, если бы все это видел Степка Атлантида.

«Вот, Степка, — сказал бы я, — отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность».

«Молодец парень! — сказал бы Степка. — Так и должен действовать матрос революции».

И с гордостью, распирающей наши сердца, наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром вприкуску.

Мы ставили в этот вечер второе действие «Женитьбы» Гоголя.

— Глянь, глянь, Петровна, — восхищались в зале матери, — мой-то как ногами выступает! Чистый кавалер!

— Батюшки! Нюрка это, ей богу, Нюрка… Обрядилась до чего… Не признаешь.

— А Нинка-то, Нинка наша!.. Скажите на ми-

лость, ну откуда форс берется?

— Энтот тощенький чей?.. Докторов?.. То-то, я вижу, больно аккуратно выражается.

— Сергунька-то мой до чего свою обязанность выучил… Вот бес!.. Поперед всех частит… Который в будке, взопрел небось ему подсказывать.

— Степанида, а Степанида, где ж твой-то?

— Моего не видать: он занавес держит.

Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из «Сорочинской ярмарки». Зал уселся и затих.

— «Знаете ли вы украинскую ночь?» — с чувством начал Оська.

— Нет, нет!!! — закричал зал. — Не знаем! Просим! Просим!

— «Нет, вы не знаете украинской ночи!» — продолжал немного смущенный Оська.

— Ясно, не знаем, — согласились матери. — Откуда нам знать? Какое наше воспитание было!

Потом ребята водили матерей и показывали свои; плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок.

— Ишь ты, целое у них тут государство! — говорили матери.

Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Динка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул «Барыню» в четыре руки, считая пару Оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и «вечера рождения», но никогда не было так весело и хорошо.

— Ну, спасибо вам, Донна Диновна, — говорили матери, безудержно улыбаясь, — и вам, Зоренька, и вам, ребятишки. Спасибо. Наша-то молодость сгибла уж… Дожили хоть на ребят своих в радости посмотреть… Спасибо вам.

— Себя благодарите, — говорила Дина, — все это в ваших руках.

Озорница Клавдюшка потащила меня в «комнату сюрпризов». Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью: «Панорама. Вид в лунную ночь зимой».

— Хочешь посмотреть? — спросила Клавдя. — Плати фантик.

Я заплатил какой-то фант. Клавдя привернула лампы в комнате.

— Гляди! — сказала она, раздергивая занавески. Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ланд-

шафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки.

— Похоже? — спросила Клавдя.

— Очень! — сказал я. — Только красивее гораздо, чем в действительности. Кто это сделал?

— Дина это сделала, — смеялась Клавдя, — и тебе обязательно показать велела. Гляди, гляди!

Вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечная ночь отпрыгнула назад. Перспектива углубилась. Амбары обрели нормальные масштабы, и я понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большом окне. Окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не подумал, что эта прекрасная ночь и все, что было сегодня на нашем вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучной недействительности пал на Швамбранию. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят.

— Ну что? — сказала Дина. — Значит, тебе, вы-

ходит, золотая рамочка нужна? Тогда и Покровск в Швамбранию превращается? Эх, ты!

Ребята смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся Феоктист Ухорсков. Смеялась Клавдя. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба, но горячая кровь швамбран ударила нам в голову. Как они смели издеваться, в самом деле?

— Ну, поняли теперь, в чем фокус? — спросила Дина.

Мы молчали.

— Я вам объясню, ребята, — сказала Донна Дина. — Тут виной всему старая пословица: там хорошо, где нас нет. Но вот один известный коммунистический писатель Франц Меринг так писал: пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать, и основывает, свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтоб было там хорошо, где мы…

В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной Швамбрании.

Мы с Оськой, взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты.

— Куда? — закричали ребята. — Обиделись,

швамбраны?

— Ничего, ничего, они вернутся, — уверенно сказала Дина. — Эй, кузнечики, послушайте!.. Ничего, они вернутся!.. Они вернутся работать, а не играть.

Нашествие иогогонцев

Кроме Уродонала Шателена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, послухам, еще один опасный враг. Это была банда иогогонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кандраш (Кандрашов), идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюг-Мартыненко.

«Ио-го-го! Ио-го-го! Не боимся никого!..» — таков был воинственный клич иогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения.

Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за педелю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек пятнадцать. Они шли тесной, настороженной толпой. Васька Кандраш вышел вперед, к столу Донны Дины.

— Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книго-

винку, — сказал Кандраш, — только поинтереснее. Буссенар Луи, например! Нет? А Пинкертон есть? Тоже нет? Вот так библиотека советская, нечего сказать!

— Мы таких глупых и никчемных книг не держим, — сказала Дина, — а у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот, я вижу, вы парни боевые. А у нас каждый читатель — хозяин библиотеки. Хотите быть «боевой дружиной порядка»? Будете охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь.

Это было очень неожиданно. Иогогонцы опешили. Банда переглядывалась.

— Небось ты у них главный атаман? — спросила Дина Кандраша.

— Я, — отвечал тот, польщенный. — А откуда ты… вы узнали?

— Кто же не знает! — сказала Дина. — Ну, так как же? Можно доверить тебе порядок?

Иогогонцы опять застеснялись.

— Вполне можно! — скромно сказал Кандраш. — Чего снегу натаскали в помещение? — накинулся он вдруг на своих. — Хворые, что ль, не можете валенок обмести? Вон как навозили!..

Иогогонцы, неловко толпясь, вышли в сени.

Они долго и тщательно вытирали там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку.

Но Биндюг не простил своим иогогонцам измены. Мстительный и разъяренный, настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюг считал меня главным соблазнителем иогогонцев. Он сграбастал меня за лацкан шинели. Разговор был краток:

— Я!

— Н-на!!!

Когда я с трудом открыл глаза, была драка. Ухорсков и иогогонцы валили Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего.

— Все на одного?! — кричал Биндюг.

— Нет! Все за одного, — отвечали ему и били. Никогда еще, наверно, Биндюг не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-»гвоздь». Все равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюг был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюга с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Степку. Я колошматил его,

как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции.

И мы избили его.

Большие новости

Ликующий, возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затрещины Биндюга. Оська встретил меня в передней.

— У-ра, у-ра! — закричали тут швамбраны все, — пел я.

— Большие новости, — глупым голосом сказал Оська.

Все сидели вокруг стола. Несчастье лежало на столе, длинное, как щука.

— У папы сыпняк, — сказала больничным шепотом мама, — сообщения с Уральском нет… Телеграмма шла девять дней… Может быть, он уже… («У-ра… у-ра… — и упали…»)

Мне дали воды, и я сам поднялся с пола. Две недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо говорить о нем: как о живом или как о покойнике.

Две недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой: в настоящем времени или уже в прошедшем.

И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой, Гавря Степан, искатель Атлантиды, и об этом говорили разное. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили Степку белые и сказали:

— К стенке!

И будто сказал Степка:

«Мне не привыкать… Меня в классе каждый день к стенке становили».

Может быть, это Лабанда сам выдумал, не знаю. Но факт: убили. Погиб Гавря Степан, по прозванию Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках, с прелой соломой в опухших руках, и писать о нем дальше уже нечего.

Плохо.

Возвращение

Город глохнет в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь о трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно.

Заносы осадили город. Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец…

Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел. Стал. Никто не выходил из вагонов… Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне.

Но папы среди них не было.

Холодно. Тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку, поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания? Львиное чучело, набитое трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее.

От скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Филенкин валяется на полу. Жену швамбранского президента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете.

— Хочешь… эликсиру? — предлагает он мне плещущийся стакан. — Бу… будешь веселый, как я…

Я беру стакан из его неверных пальцев. Мерз-

кая вонь сивухи бьет мне в нос. Да ведь это же… Ужасная догадка!.. Это самогон!

— Хе-хе! Конечно, самогон, — говорит алхимик, — чистый изюминный… э-мюэ… собственной гонки… э-э… мой эликсир «Швамбрания»… Ваша Швамбрания тоже… э-мюэ… самогон своего рода… Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки…

Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастья сыплются на нас! Неужели мы были помощниками самогонщика?.. Кустарная фантазия!.. Мечта собственной перегонки!.. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать. Без мечты и свистков. Сон, неуютный и рыхлый, как сугроб, принимает нас.

Глубокой ночью нас будит резкий стук. Оська продолжает спать. Я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив!!! Его вводят по лестнице. Шаги неуверенны, редки. Он желт и страшен, папа. Борода, огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему. Но он кричит:

— Не смейте никто подходить!.. Вши… Я вшивый… Умыться сначала… И поесть… Картошки бы…

И голос его трясется вместе с головой. Мы раз-

жигаем «буржуйку», жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой…

Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа, в чистой рубахе, умытый и не такой уже страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет:

— У меня больные… умирающие… в коридорах валялись на замерзшей моче… в три вершка… Я же врач… и я не могу…

Мама успокаивает его. Отец приходит в себя. Он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня.

— Здорово вытянулся, — говорит он и знакомым жестом ущемляет мне нос.

— От рук совсем отбился, — спешат пожаловаться тетки. — Все книжки растаскали пролетариям…

— Оставьте вы свои мерки, — говорит, волнуясь, папа. — Мне странно… как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели,

какие лица были у наших, когда они гнали этих… Если бы вы…

Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время, словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разрежается дыхание. И, бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко и сладостно плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще другое…

Но ни одна из этих слез не орошает почвы Швамбрании. Ни одна. Утром я пойду в библиотеку.

Огонь и пепел

Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась Амбарной.

Бронепоезд, лязгая, появился на Амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лицо Брешки и Лабазов свои орудия. Пегие, в камуфляже, бока броневагонов были помяты в

боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило перед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рака с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться.

Мы в это время, по заданию комиссара, снова рисовали в библиотеке плакаты:

НА БОРЬБУ С ТИФОМ!

Опять, не щадя сил и красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сяжек, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты, а под этим нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.

Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе, костенел в тупике бронепоезд. Желтые ледяные сталактиты и сталагмиты нечистот уже сращивали его со шпалами. Он стоял в тупике.

— Куда ходишь? — спросил меня часовой.

— К товарищу Чубарькову с личными плакатами, — гладко отвечал я.

— Предъявь, — сказал часовой и долго смотрел на плакаты, развернутые мною.

— Здорово! В точности, — сказал он наконец. — Ну, проходь.

Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили. Там было накурено. Председатель Чека был там, комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толща, надетая на вагон, давила и успокаивала их. Говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике.

— Я, как командир бронепоезда, — говорил он, — заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы. Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками — вот за кем дело стало.

— Ну что же, — сказал председатель Чека, — в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники скажут. Сейчас Робилко явится, расскажет… Спать вот только клонит. Я четыре ночи не рассупонивался…

— А если нет? Точка! — сказал комиссар и яростно задымил, с остервенением стряхивая

пепел на стол.

— Слушай, друг, — обратился к нему командир бронепоезда, — соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменяли… Диковинная вещица. Тряхай туда.

И он подвинул к комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие.

— Удар их назначен на завтра, — сказал комиссар. — Если броневик не заслонит, то нашим зайдут в тыл. Дело в паровозе. А если нет? — повторил он.

— А если нет, — сказал председатель Чека, — так я сам поеду туда. Покалякаю. Я за рабочую братву не опасаюсь. Не выдадут. Свои. Вот мастера, техники… Ну, если саботаж, так у меня разговор будет короткий.

И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем не такой, как тогда был в Чека, когда хохотал над швамбранской историей. И комиссар здесь был совсем новый, иной, чем обычно. Он и говорил проще, почти без «точек и ша», хорошо, ладно говорил. Он был среди своих, до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его

сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей, деловой маете. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не с швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом.

Робилко ворвался в вагон. Я знал машиниста Робилко. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Робилко ворвался в вагон. Все вскочили.

— Ну?! — закричали все.

— Рабочие-железнодорожники, — сказал Робилко, — велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, говорят они. Они, говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция… И свою пролетарскую обязанность в смысле ремонта паровоза заверяют выполнить, хоть и не спамши, завтра к утру…

Бронепоезд уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз рявкнул. Потом рванул.

В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронепоезд уходил.

Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот — грот Черной королевы, былое вместилище нашей тайны… Пепел и окурки сыпались из него, пепел и окурки.

Земля! Земля!

В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали. Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая.

— Товарищи, — закричал я, — предлагаю разобрать на дрова Швамбранию!

— Швамбранские дрова годятся только для отопления воздушных замков, — сказала Дина. — Забудь про Швамбранию.

— Да нет же, — сказал я, — я не про то… Дом Угря знаете? Там досок всяких, бревен, обломков полно внутри… Это наша тайна была… Мы там играли с Оськой и видели… Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней со

Швамбранией… Для своих не жалко.

Сначала все молчали — так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды опустился над нами. Сердце замирало. Нас качали.

— Только оттуда надо двух алфизиков выгнать, — сказал вдруг Оська, когда его поставили на пол.

— Каких алфизиков? — спросила Дина.

— Алхимиков, — объяснил я.

— Ну, алхимиков, — сказал Оська. — Они там самогоном пьянствуют.

Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел.

* * *

Швамбрания рушилась. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженые сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал их еще как куски Швамбрании. Налево я передавал их уже только как дрова для библиотеки. Работа шла мерно и четко. Поцарапанные руки устали; мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц. Но было приятно чувствовать,

что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый — со следующим, и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачная Швамбрания… Группа наших ребят вместе с комиссаром, Зорькой, Динкой и Ухорсковым валили уже расшатанную стену высокой галереи. Вдруг раздался чей-то исступленный крик:

— Стойте! Погодите!..

Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська.

— Отсюда как красиво! — сообщил сверху Оська. — Далеко все видно…

— Ша! Слезай оттуда сейчас же! — закричал не своим голосом комиссар. — Нет! Стой!.. Я тебя сейчас сам сниму.

И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстия этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома.

— Правда, отсюда красиво? — спросил спокойно дожидавшийся его Оська.

— Сигай сюда, и ша! — зарычал комиссар, протягивая руку.

Он подхватил Оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она осела, как

лавина.

— Всю бы ты нам музыку изгадил, — сказал комиссар, ставя Оську на землю.

Обломки Швамбрании лежали вокруг нас.

— Все швамбраны погибли, как гоголь-моголь, — сказал неожиданно Оська.

— Не как гоголь-моголь, а как Гог и Магог, ты хочешь сказать, — засмеялась Донна Дина.

Я стоял среди этих воображаемых трупов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани.

— Товарищи, — сказал я, — слушайте: я последние швамбранские стихи сочинил:

Стою на поле брани я…
Разрушена Швамбрания.
С ней погиб имен набор:
Джек, Пафнутий, Бренабор,
Арделяр, Уродонал,
Сатанатам-адмирал,
Мухомор-Поган-Паша,
Точка, и ша!
Каких имен собрание!
Прощай, прощай, Швамбрания!
За работу пора нам!

Не зевать по сторонам!
Сказка — прах, сказка — пыль!
Лучше сказки будет быль!
Жизнь взаправду хороша…

И все подхватили:

Точка, и ша!

Глава с глобусом (заменяет эпилог)

Повесть вся! Сейчас кончается книга. Одну минуту! Я только возьму глобус. Глобус — вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо. Глобус тверд, устойчив, весом.

Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок.

Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно принимали шар в руки.

— А я догадался, почему знают, что Земля кругленькая, — говорил Оська, убедившись в ненаучности гипотезы о местах, где Земля закругляется. — Я знаю почему, — говорил он. — Потому что глобус… шарообразный. Да, Леля?

Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд человеческого рода — отряд людей, на глобусе постигающих, что Земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами.

Спасибо эпохе! Размозжен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко наподдали… Пришлось соответствующим местом убедиться, что Земля поката.

Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение: это не откровение, а просто наглядное учебное пособие.

Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. Швамбрании нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс. Город Энгельс хауптштадт, то есть столица Автономной социалистической советской республики немцев Поволжья.

Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську-отца. У него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мною овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. (О беглянка из Страны Несуществующего! О дочь швамбрана!..) Я заготовил ряд

пышных имен на выбор: Швамбраэна, Бренабора, Деляра… Но вот пришло письмо от Оськи:

> «Довольно! Довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков. Дочка у меня настоящая, и никаких швамбранцев и кальдонцев. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом. Ося.
>
> Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленки, купи какого-нибудь там полумадама».

Тут же была приписка Оськиной жены:

> «Господи! Ответственный работник, диаматчик, Беркли и Юма прорабатывает, никогда ни одного тезиса не спутает, а вот вместо мадаполама — полумадам пишет».

И мы снова посетили дом в Покровске. Мы сидели в той самой комнате, откуда двенадцать лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в Тратрчоке…

Полугодовалая Натка таращилась кругло, розово и уже осмысленно. Я подарил ей погремушку: маленький глобус на длинной ножке.

Седой папа вернулся из штаба санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был небрит, хрипл и мужествен.

— Здорово, Леха! — закричал Оська. — Еле выдрался. Утром по судоремонту, днем в техникуме читал. Потом в райком! Сейчас с актива водников. Доклад делал об испанской революции. Ну, как Натка?

Я произнес прочувствованное надколыбельное слово, приветствие, речь.

— О ты, — говорил я, — ты, которая… — говорил я.

— Ну, хватит, — сказал Оська, закуривая, — хватит петь эти самые гамадрилы.

— Оська, — воскликнул я, — пора уже знать: не гамадрилы, а мадригалы!

— Тьфу! — сплюнул Оська. — Осталась дурацкая путаница с детства… Кстати, Леля, разъясни, пожалуйста, мне раз навсегда: драгоман и мандрагор — кто из них переводчик и кто — камыш?

Потом я читал нашим «Швамбранию». Это было

не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторгались в изложение. Они громогласно обижались и торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его. А Натка совала в рот свой глобусик. Потомок швамбран, она потрясала маленькой гремучей булавой.

— Я буду официален, товарищи, — сказал Оська. — Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний. Но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках. Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб… Ты хочешь лишить современность права на мечту. Это неверно! Надо это оговорить. Я сейчас…

И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля. Книги и тетради выползли, трепыхаясь, на стол, как рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека, Спутника Моряков.

— Вот, — сказал Оська, открывая одну из книг. — Вот что я здесь написано: «И если скажут: ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для под-

держания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане… Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы… не нуждаемся ни в какой мечте?» (терминология Ленина)… Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике, разумея под этой романтикой то же, что Ленин разумел под своей мечтой. И это больше не недостижимая фантастическая звезда, это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия вперед. Это тот «практический идеализм», о великом наличии которого у материалистов говорил Энгельс в ответ на упреки этихузких материалистов в «узости и чрезмерной трезвости».

— Вот о чем надо было сказать, — закончил ученый Оська.

— Оська, — сказал я смиренно, — в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но не умею еще исправить их. И не торопи меня. Все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком — спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська! Я хочу быть матросом и

буду им, даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я Степке Атлантиде.

Мы долго говорили потом с Осей. Дом улегся. Наши молодые жены одиноко стыли на креслах, составленных во временные ложа.

А мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса «А».

— Алипченко Вячеслав! — вызывал я.

— Умер от тифа, — отвечал Ося.

— Виркель Карл?

— Секретарь канткома партии, — отзывался Ося.

— Гавря Степан, по прозвищу Атлантида!

— Убит на Уральском фронте.

— Руденко Константин, по прозвищу Жук!

— Ассистент по кафедре аналитической механики.

— Горбан Виктор!

— Застрелился от несчастной любви.

— Лабанда Владимир!

— Инженер-кораблестроитель во Владивостоке.

— Мартыненко, по кличке Биндюг!

— Раскулачен и сослан…

— Новик Иван!

— Директор МТС.

— Мурашкин Кузьма!

— Старпом парохода «Громобой».

— Тальянов Виталий!

— Расстрелян за бандитизм.

— Федоров Григорий!

— Экономист. Сейчас красный командир в Кушке.

— Шалферов Николай.

— Погиб на хлебозаготовках.

Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный Парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения швамбранского дворца Угря, застраивался домами Мясокомбината. Пробегал автобус. Торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей Брешке выросли большие дома. Аэропланы реяли, рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион.

Я вспомнил, что слышали швамбраны в Чека:

«И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день…»

Пока сказка сказывалась, дело делалось.

Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов.

— Ну что, — говорил папа, наслаждаясь моим восторгом, — было в вашей Швамбрании что-либо подобное? Были у вас такие шприцы или мочеприемники подобной конструкции?

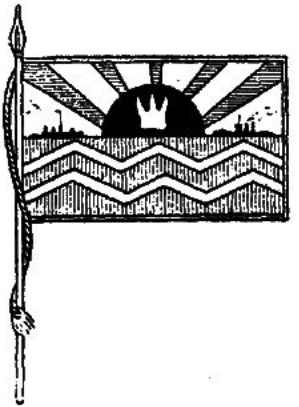
— Нет, — признавался я, — ничего подобного не было.

Папа торжествовал.

Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в чулане большой щит с гербом Швамбрании: Королева, Корабль, Автомобиль и Зуб…

Щит с гербом Швамбрании висит теперь у меня в комнате (Москва, Н.-Радищевская, 14). Он ехидно и весело напоминает со стены о наших заблуждениях и швамбранском плене. Так, по преданию, повесил князь Олег свой щит на вратах Царьграда: дескать, помни, греки! Знай наших!

Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие.



Государственный флаг и герб Швамбрании.